

Брешко-Брешковский Н. Н. Сочинения: Когда рушатся троны... Печатается по изданию: Брешко-Брешковский Н. Н. Принц и танцовщица. Роман. Рига: Книгоиздательство "Граматы Драугс", 1927 //НПК "Интелвак", Москва, 2000

FB2: "rvvg ", 03 October 2012, version 1.0

UUID: 46fd536d-3c51-102b-838a-b2b8826265d3

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Николаевич Брешко- Брешковский

Принц и танцовщица

В книгу включены два романа Николая Николаевича Брешко-Брешковского (1874-1943), представителя первой русской эмиграции. Его сравнивали с А. Дюма-отцом и Ж. Сименоном, о нем тепло отзывался А. Куприн. Его романами зачитывалась вся зарубежная Россия. Но в то же время его жестко критиковала пресса. Динамичные, остросюжетные произведения Брешко-Брешковского - увлекательное и легкое чтение.

Содержание

#1	0008
Книга первая	0008
1. ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ОЧУТИТЬСЯ	0008
2. СУБЪЕКТ С БРИЛЛИАНТОМ НА МИЗИНЦЕ И СО ШРАМОМ НА ЩЕКЕ	0013
3. КУДА ПРИВЕЛА НАШЕГО ГЕРОЯ АПЕЛЬСИННАЯ КОРКА	0018
4. «ЭКЗАМЕН» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ	0028
5. ЧТО-ТО НЕЛАДНОЕ	0035
6. ПРИНЦ И ЕГО АДЪЮТАНТ	0042
7. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВЫ	0052
8. ДВАДЦАТЬ ТРИ СВЯЩЕННЫХ ЖУКА	0057
9. ЩЕЛЧОК ПО НОСУ	0061
10. ВЫСОЧАЙШЕЕ ВНИМАНИЕ	0068
11. НЕ ВСЕ МОЖНО КУПИТЬ	0075
12. В КАБИНЕТЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ	0083
13. ИНТРИГА ПЛЕТЕТСЯ	0089
14. «МЕЖДУ НАМИ ВСЕ КОНЧЕНО»	0099
15. КАК ЭТО ПРОСТО ДЕЛАЕТСЯ	0107
16. БИОГРАФИЯ АРОНА ЦЕРА	0118
17. МЕКСИ «НАЖАЛ КНОПКУ»	0127
18. ГОНЕЦ	0133
19. МЕКСИ НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДЫ	0141
20. ТРАГЕДИЯ ПРИНЦА	0148

21. ЩЕКОТЛИВОЕ ПОРУЧЕНИЕ	0155
22. ДИПЛОМАТ И ВЗЛОМЩИК	0162
23. КАК ЭТО ПОВЛИЯЛО НА МАВРОСА	0170
24. ПЕРСИДСКИЙ ПРИНЦ — МЕТАТЕЛЬ НОЖЕЙ	0181
25. ПРОИГРАННОЕ ПАРИ	0190
Книга вторая	0196
1. НИКАК НЕ УГОДИШЬ	0196
2. НЕНАВИСТЬ	0203
3. ЦЕРИНИ НАЧИНАЕТ НЕ ВЕЗТИ	0211
4. ЦИРК, ЕГО ПОЭЗИЯ И ЕГО ДЕМОКРАТИЗМ	0218
5. ОЖИДАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	0227
6. КЛОУН БЕНЕДЕТТИ	0239
7. ТРЮК С ЧЕЛОВЕКОМ И ЛАССО	0250
8. ПО СЛЕДАМ НЕНАВИСТИ	0257
9. НА МОРСКОМ БЕРЕГУ	0264
10. СЧАСТЬЕ АРОНА ЦЕРА	0270
11. ПЕРСИДСКИЙ ПРИНЦ В РОЛИ СОЛОМОНА	0279
12. О ПЕЩЕРНЫХ ЛЮДЯХ ДВАДЦАТОГО ВЕКА	0287
13. ПОДКУПЛЕННЫЙ «ШТАЛМЕЙСТЕР»	0293
14. ЗАВИСТЬ	0300
15. НАПРАСНЫЕ МЕЧТЫ	0312
16. ЗАУР-БЕК ДЕЙСТВУЕТ РЕШИТЕЛЬНО	0318
17. ПРЕСТУПЛЕНИЕ — НЕ ВСЕГДА ПРЕСТУПЛЕНИЕ	0325

18. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОЛЮБИЕ КОВБОЯ ЗАДЕТО.....	.0332
19. ГЛАВА ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ.....	0339
20. РОКОВАЯ ОШИБКА.....	.0347
21. ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.....	0361

Принц и танцовщица

БИБЛИОТЕКА НОВѢЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Томъ XV.

Н. Н. БРЕШКО-БРЕШКОВСКІЙ

ПРИНЦЪ
и
ТАНЦОВЩИЦА

РОМАНЪ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГРАМАТУ ДРАУГСЪ“
РИГА ПЕТРИЦЕРКОВНАЯ ПЛОЩАДЬ, № 37.
1 9 2 7

Книга первая

1. ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ОЧУТИТЬСЯ

Когда нет денег и достать их не у кого и негде — это ужасно. Еще ужасней, когда очутившийся в таком положении до тридцати пяти лет не знал, что такое — деньги, вернее, знал отвлеченно, теоретически, так же, как знал, что ходит по земле и дышит воздухом.

До сих пор, исключая последние пять-шесть месяцев, за него платили. Было кому оплачивать портных, поставщиков, апартаменты в гостиницах, когда он бывал за границей. Ему даже редко приходилось держать в руках деньги, будь это золото, серебро или ассигнации.

А за последние пять-шесть месяцев, приходилось — и еще как приходилось — иметь дело реже с тем, что называется презренным металлом, и чаще с тем, что называется бумажной валютой.

И вот подошел вплотную день, когда и то и другое иссякло.

Господин во фраке и с важной внешностью подал на круглом мельхиоровом подносе счет с тремя цифрами в итоге. Счет за пятнадцать дней жизни в отеле, с утренним завтраком, а иногда и с обедом.

Правда, господин во фраке был при этом отменно вежлив и улыбался скорее сконфуженно, чем торжествующе. И хотя постоялец значился в паспорте Ренни Гварди, просто Ренни Гварди, но человек во фраке с бритым лицом, изгибаясь и подавая счет, добавил что-то вроде «Вашего Сиятельства» или «Вашего Высочества».

Увы, и от безукоризненной вежливости и от почти виноватой улыбки, и от «Вашей Светлости» было нисколько не легче. Даже наоборот, было гораздо тяжелее.

Ренни Гварди — будем его так называть — попробовал подсчитать весь свой капитал. Пустяки, мелочь, на которую можно пообедать, если и с вином, то с плохим, если и с сигарой, то не с гаванской. А между тем Ренни Гварди знал толк и в хороших винах, и в га-

ванских сигарах.

Голова мучительно работала, и в то же время не было ни одной мысли. Это, хотя и редко, но случается. Случается, когда неумолимо встает безвыходность положения. А если безвыходность подошла вплотную, уже не только нет ни одной мысли, а в голове образуется пустота, крайне досадная и ничем не заполняемая...

Но если временно засыпает «думающий» аппарат, не засыпает желудок. И чем меньше в кармане, тем более властно, тем более требовательно напоминает о себе. Данный случай не являл собою исключения.

С решительностью отчаяния Ренни Гварди вошел в ресторан — не в первоклассный, но и не последнего разбора, однако вполне приличный.

И хотя он заказал себе суп-крем, бараньи котлетки «соус субиз», спаржу и потребовал бутылку местного — оно так и называется «местным» — дешевого вина, лакей служил ему, как служат настоящим господам — тем, которых интересует не счет, а качество и которые швыряют щедрые подачки.

Такова уже была внешность Ренни Гварди и таковы были его манеры.

Ресторан славился шоколадным кремом, и Гварди потребовал на десерт именно шоколадный крем, густой, маслянистый и в меру, не до приторности, сладкий. Хотя в эти вечерние часы ресторан залит был электрическим светом, но лакей простер до того внимание к нашему герою, что когда Гварди спросил голландскую сигару, лакей поставил перед ним зажженный канделябр с тремя свечами. Это было признаком хорошего тона, и ресторан баловал этим разве очень редких и очень выгодных своих гостей.

Пригубливая кофе и дымя сигарой, ощущая в желудке тепло и уют, Ренни Гварди просматривал одну из вечерних газет. С некоторых пор он возненавидел политику. Может быть, временно, а может быть, и навсегда — решать не беремся, но это было именно так. И поэтому Ренни Гварди, минуя события политической важности, интересовался мелочами, теми мелочами, которые создают успех бойкой, живой газете.

Одну из таких мелочей он дважды перечи-

тал. Другой, пожалуй, не обратил бы внимания, но Ренни Гварди обратил. Коротенькая заметка была озаглавлена:

Андре Андро и апельсиновая корка.

А дальше описывалось, как Андре Андро, наездник высшей школы в цирке Барбасана, сломал ногу там, где этого можно было менее всего ожидать. В дневные часы Андре Андро пошел потанцевать в один из дансингов. Сделав несколько туров шимми, он очутится у буфета, желая выпить бокал ледяной оранжанды. Еще не успев утолить жажду, наездник высшей школы наступил на апельсиновую корку и, поскользнувшись, упал, и так неловко, что сломал себе ногу. Его отвезли в госпиталь. Врачи находят перелом ноги серьезным, раньше трех-четырех месяцев наезднику не придется показывать свое искусство.

В случайных, с виду хаотических, сплетениях как событий величайшей важности, так и самых незначительных фактов имеется всегда какая-то своеобразная логика. В оторванных друг от друга и не имеющих друг с другом связи — логика? Да, мы это будем утвер-

ждать, не боясь упрека в желании щегольнуть парадоксальностью.

2. СУБЪЕКТ С БРИЛЛИАНТОМ НА МИЗИНЦЕ И СО ШРАМОМ НА ЩЕКЕ

Говорят, у самоубийц, когда уже все решено и обдуманно, все страхи, волнения, мучительные переживания отходят, исчезают, и на душе воцаряется удивительное спокойствие.

Ренни Гварди не готовился покончить свои земные счета, но его самочувствие в миниатюре, очень в миниатюре, походило на ощущение самоубийцы, уже вынужденного из письменного стола револьвер.

Когда Ренни Гварди запил шоколадный крем чашкой горячего, крепкого кофе и не спеша, чтобы продлить удовольствие, курил свою голландскую сигару, он был уже спокоен. Недавних треволнений как не бывало. Спокоен, хотя знал, что через несколько минут выйдет на улицу, в буквальном смысле слова на улицу, ибо как же иначе сказать про человека, истратившего свои последние деньги на свой последний обед?

И вдруг его безмятежное настроение смутилось, нарушилось. До того нарушилось, что он почувствовал прямо какую-то физическую неловкость. Неловкость — это еще не все. Было еще что-то похожее на брезгливую дрожь.

В нескольких шагах от него, через два-три столика, сидел субъект. Именно субъект. Не человек, не господин, не мужчина — эти выражения в данном случае не подходят.

Этот большеголовый субъект был черноволос и плотен. Одетый в новенькую светло-сиреневую, немодную визитку, он, без сомнения, принадлежал к щеголям дурного тона. И перстень с крупным бриллиантом на коротком мизинце был тоже признаком дурного вкуса. Таких перстней избегают даже банкиры. Их носят шулера. Носили торговцы живым товаром, ездившие из Одессы в Константинополь и обратно.

Да и он, этот обладатель крупного бриллианта, ослепительно сверкавшего в потоках огней люстр, походил одновременно как на шулера, так и на торговца живым товаром. Черты лица, хотя и очень крупные, резкие, но менее всего породистые. Хищный нос с горбин-

кой. Актеры, изображая злодеев и темных личностей, «гримируют» себе именно такой нос. Да и весь этот субъект, с черной острой бородкой, с черными усами, смугло-румяный и яркий, с густыми бровями производил впечатление загримированного, хотя таковым и не был. Низкий лоб, широкие скулы. Одну из них пересекал заметный глубокий шрам, полученный при каких угодно условиях, но только, наверное, не на поле брани. Скорее всего — на зеленом поле, и когда след оставляет не кинжал или сабля, а подсвечник.

Субъект не стеснялся в расходах. Зная, что мясное блюдо запивают красным вином, субъект потребовал запыленную бутылку Бордо, и она бережно была подана в корзинке. Зная, что рыбу запивают белым вином, субъект потребовал Икем. Под конец обеда он велел подать себе несколько разных ликеров. И зеленый, как изумруд, и желтый, как тигровый глаз, и алый, как жидкий рубин.

Метрдотель с большим кожаным портсигаром склонился перед субъектом, и он извлек оттуда длинную крепкую гаванну. И однако же, невзирая на все это великолепие,

грозившее кругленьким счетом, лакей не поставил перед субъектом зажженный канделябр с тремя свечами. Субъект вынужден был сам потребовать канделябр, и сделал это в такой форме, как бы желая подчеркнуть, что обойдя его тем, чем не обошли Ренни Гварди, ему нанесли личное оскорбление.

Но почему же вид этого субъекта со шрамом и в светло-сиреневой визитке неприятно подействовал на Ренни Гварди? Мало ли какая публика бывает в ресторанах? Нельзя же требовать, чтобы все были симпатичны, благообразны, воспитаны и не носили на мизинце непристойно-громадных для мужчины бриллиантов. Нельзя. Ресторан — это кусочек улицы в закрытом помещении, а не салон и не аристократический клуб.

Нет. Здесь было совсем другое. Ренни Гварди сейчас окончательно убедился, что этот большеголовый, беспокойно-яркий субъект слишком часто, слишком назойливо попадается ему на глаза. Он следит за ним, Ренни Гварди. И в ресторане очутился менее всего случайно. В отеле, в котором живет Гварди, субъект несколько раз маячил то в вестибю-

ле, то внизу, в ресторане, то поднимался наверх, и Ренни Гварди столкнулся однажды с ним у дверей своего номера. Субъект не совсем искусно притворился чего-то или кого-то ищущим.

Вот и сейчас, здесь: субъект, еще не кончив свой кейф с зеленым, рубиновым и желтым ликерами, потребовал заблаговременно счет, дабы в любой момент быть готовым взять свой сиреневый, под цвет визитки, цилиндр, свою трость с золотым набалдашником и уйти.

Субъект, не взглянул на счет, небрежно швырнул крупную бумажку и, получив сдачу, оставил такой крупный «пур буар», что лакей забыл даже поклониться, так его это ошеломило. Задорное мальчишеское желание пересидеть субъекта овладело Ренни Гварди. И, вооружившись терпением, — пожалуй, это было нетерпение — он сделал вид, что углубился в вечернюю газету.

Своим образом действий Гварди достиг цели. Субъект нервничал, если он вообще мог нервничать. Во всяком случае, он гримасничал, думая, что презрительно улыбается, ба-

рабанил пальцами по столу и, раздавив в пепельнице до половины только докуренную сигару, потребовал новую, тотчас же за нее заплатив.

Ренни Гварди надоела эта комедия, и он ушел. Ушел так стремительно, что субъект растерялся, упустив момент последовать за тем, за кем он шпионил.

3. КУДА ПРИВЕЛА НАШЕГО ГЕРОЯ АПЕЛЬСИННАЯ КОРКА

Читатель вправе, давно уже вправе полюбопытствовать, где же происходит завязка нашего романа? В какой стране, в каком городе?

Город этот — Париж. Отель, где Ренни Гварди не мог уплатить двухнедельный счет — отель «Фридланд» на авеню того же названия. Ресторан, где обедал Ренни Гварди почти лицом к лицу с большеголовым брюнетом — один из ресторанов, приютившихся на пляс Маделен. Итак, Париж.

Добавим еще: весенний Париж, когда Булонский лес не так прозрачен, как зимой, и когда все больше и больше устремляется в

этот лес по широкому Bois de Boulogne автомобилей, колясок, пешеходов, всадников и всадниц.

Всякий, хоть раз побывавший в Париже, знает о существовании цирка Медрано. Теперь, в послевоенные годы, осталась одна только вывеска, фирма. Да и фирма в конце концов исчезла. Одна цирковая «династия» уступила свое место другой династии. Медрано сменил Гвидо Барбасан. Семидесятилетний Гвидо Барбасан, сухой и тренированный, как жокей, с той лишь разницей, что старый Гвидо на целую голову был выше самого высокого жокея, ибо и самый высокий жокей никогда не больше самого среднего обыкновенного человека.

Гвидо Барбасана никак нельзя было представить без трех вещей: сдвинутого набок лоснящегося цилиндра, монокля на старомодной черной тесемке и сигары. Так и шутили про него: Гвидо состоит из цилиндра, монокля и сигары.

Но в этом не было не только ничего смешного, а наоборот, как раз все это шло Барбасану и было в стиле его фигуры, в стиле челове-

ка, возвращенного с малых лет цирковой атмосферой.

Вот и сейчас, в своем кабинетике, — стены сплошь покрыты афишами и плакатами, — сидя за столом, одетый во все черное, дымил он сигарой. В глазу твердо угнезвился монокль, а в сверкающий цилиндр старого Гвидо можно было смотреться, как в зеркало.

Визави Барбасана — их разделял письменный стол — сидел Альбано, режиссер, он же управляющий труппой, бывший клоун, маленький, с годами ожиревший человек, с подвижным, пухлым, мягким, словно изжеванным лицом.

— Подвел, еще как подвел, — сетовал Гвидо на Андре Андро. — И дернуло же его пойти на этот дансинг... И что за хамство бросать на пол корки. Ведь это же свинство.

— Свинство, господин директор, и даже большое, — согласился Альбано. — Публика теперь такая пошла. Разве можно предъявлять требования, мало-мальски строгие требования? Надо сознаться: после этой войны все реже и реже встречаешь воспитанных людей. Ворвалась улица. Но нам-то нисколь-

ко не легче от этого сознания. Самый искуснейший хирург — не Бог и в два-три дня, увы, не поставит на ноги бедного Андре Андро. А между тем наездник высшей школы необходим, хоть тресни. Необходим, как тонкий десерт для гурмана за хорошим обедом. Это пятно, благородное пятно. А все благородное, изысканное не так-то легко найти. Вы видели, на ваших глазах предлагалось несколько наездников, но я не остановился ни на одном. Даже не делал им «пробы». Достаточно первого впечатления. У одних уж очень простецкие физиономии. Другие же — сахарные красавчики. И те, и эти одинаково неприемлемы. Наездник высшей школы — особенный номер, стильный, «фрачный», требующий непременно изящества и породы. Он должен производить впечатление аристократа, случайно очутившегося на арене, гордого, не замечающего публики и как будто для самого себя «работающего» свою лошадь. Не так ли, дружище Альбано?

— Золотые слова, господин директор. Золотые слова. Таким, именно таким наездником высшей школы были вы.

— Был, — вздохнул Гвидо. — Был. Теперь уже года не те, да и этот проклятый ревматизм дает себя знать.

— А какой вы имели успех, — оживился Альбано. — Поклонницы, корзины цветов, директор, вас засыпали цветами, как примадонну.

— Да, да, еще бы. Я мог повторять вместе с опереточным Калхасом: «Много, слишком много цветов». Если подсчитать всю их стоимость, получилось бы... целое богатство, — хотел прибавить старый Гвидо, но не успел.

Служитель в красном, обшитом золотым позументом вицмундире и с аксельбантом на левом плече, войдя в кабинет, доложил:

— Господин директор, вас хочет видеть какой-то господин.

— Господин или артист?

— По-моему, господин, — уверенно сказал служитель.

— Попросите ко мне господина.

Вошел Ренни Гварди. Окинув его беглым взглядом, в совершенстве наметавшимся, Гвидо сам себе сказал: «Да, это „господин“».

— Прошу садиться на этот стул. Чем могу

вам служить, мосье?

— Я прочел в газетах о постигшем Андре Андро несчастьи. Я хочу вместо него предложить себя, если, конечно, вакансия еще не занята.

Гвидо ответил не сразу. Движением глазных мускулов выбросив монокль, повисший на тесемке, он пристально, испытующе всматривался в Ренни Гварди. Ничто не ускользнуло от Барбасана. Ни железный перстень, единственное украшение тонкой, с длинными пальцами и в то же время сильной мужской руки, ни скромный пиджачный костюм, сидевший, однако же, так, словно был неотделим от Ренни Гварди. И спокойными, уверенными в себе манерами человека остался доволен Барбасан, и лицом, хотя и некрасивым, но имеющим то, что бывает ценнее красоты — породу, породу несомненную. Да, было много породы и в удлинненном овале, и в линиях рта, и в четком профиле. Энергичное, мужественное лицо как-то странно, почти неуловимо сочетавшее в себе европеизм с Востоком. Гвидо переглянулся со своим режиссером, и бывший клоун вырази-

тельно подмигнул: одобряю, мол.

Все это было делом нескольких секунд. Барбасан, успев вооружить глав моноклем, задал вопрос:

— Вы еще не работали в цирке? Никогда?

— Никогда! — ответил Ренни Гварди, и его темные глаза, глаза какого-нибудь азиатского хана, чуть приметно улыбнулись, а губы, губы утонченного европейца, хранили полную неподвижность.

— Гм... — переглянулся снова Барбасан с управляющим труппой. — Что ж, у вас были, вероятно, свои собственные конюшни?

— Я держал верховых лошадей, — уклончиво ответил Ренни Гварди и этим еще больше понравился Барбасану.

Другой пошел бы сочинять: да, да, мол, и еще какие конюшни. Сам Ротшильд завидовал мне и купил их у меня за одиннадцать миллионов франков.

А этот всего-навсего: „Да, я держал верховых лошадей“. Но какой же мало-мальски состоятельный офицер-кавалерист не держал своих лошадей? Да и фигура у него кавалериста; и фигура, и „выправка“.

И, продолжая вслух, старый Гвидо спросил:

— Быть может, вы проходили курс высшей езды в Пинероле, у итальянцев, или здесь, в Сомюре, у французов?

— Да, я знаком и с той и с другой школой...

— Кто ж вы, наконец, черт вас возьми? — чуть не вырвалось у Барбасана, и опять он закончил вслух свою мысль: — Вы попадете у меня в свое общество. Времена такие. После всех этих революций кто только не идет работать в цирк! Не угодно ли? Королева пластических поз — русская графиня, метатель ножей — персидский принц, а наездник-джигит — сын кавказских нагорий, князь. Вот, — с гордостью подчеркнул Барбасан внезапно другим тоном, словно желая поймать врасплох, любопытствовал: — А вас как зовут, мосье?

— Меня?.. Ренни Гварди.

— Псевдоним?

— Разве это звучит, как псевдоним? — вновь улыбнулся Ренни Гварди, на этот раз одними губами.

— Хотя, в сущности, какое мне дело до ва-

шего паспорта, мосье, — пожал плечами Барбасан. — Самое главное, чтобы вы понравились мне, в чем я не сомневаюсь. А понравились мне, понравитесь и публике. Фрак у вас есть?

— Есть.

— Вам очень шло бы, именно вам, появляться на арене с моноклем. Это импонирует. Как вы насчет монокля?

И Барбасан сделал движение передать свой монокль собеседнику, но тот предупредил его.

Вынув из верхнего жилетного кармана круглое, без ободка, стеклышко, неуловимым движением подбросил его и с такой же неуловимой ловкостью поймал орбитой глаза.

— Bravo, bravo, это прямо великолепно, — просиял Барбасан.

Изжеванное лицо бывшего клоуна расплылось в одобрительную улыбку.

Барбасан продолжал:

— Маленькая проба... Если вы позволите, сейчас? И мы подпишем контракт, мосье... мосье Ренни Гварди. Мы сделаем маленький бум в газетах, а через два дня первый дебют.

Согласны?

— Согласен.

— Условия те же самые, что и с Андре Андро. Пять тысяч франков в месяц и в случае нарушения вами контракта, — контракт на полгода, — неустойка в размере трехмесячного жалованья. Это лишь так, формальность. Для меня гораздо ценнее слово, и вот я хочу, мосье Ренни Гварди, заручиться вашим честным словом, словом джентльмена, что ранее полугода вы не покинете меня. Мало ли что... Сегодня у вас нет ничего, а через две-три недели на вас могут свалиться шальные какие-нибудь миллионы. Это на вас похоже. Итак, даете слово? Ваша рука.

— Даю слово, господин директор, и вот моя рука, — открыто, с подкупающей искренностью, пошел навстречу новый наездник высшей школы...

4. «ЭКЗАМЕН» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Старый Гвидо нажал вделанную в письменный стол пуговку. На звонок явился тот самый служитель в красном вицмундире с аксельбантом на левом плече, который докладывал несколько минут назад о Ренни Гварди.

— Прикажите поседлать Галифе.

Служитель поклонившись, исчез, а Барбасан пояснил:

— Галифе — красавец гунтер, выезженный мной лично. Андре Андро на нем работал, а теперь Галифе перейдет к вам. Он чуток, удивительно чуток. Послушен малейшему прикосновению стека. По-моему, наездник высшей школы — это, главным образом, гармоническое впечатление всадника и лошади, составляющих одно целое, неотделимое. Конную статую, которой только не хватает гранитного цоколя. Вся сила в красоте и величии. Поэтому излишняя акробатика может лишь испортить впечатление. Один-два тура шагом вдоль арены, один-два тура манежным

галопом. Затем — испанский шаг, галоп на трех ногах и — традиционный финал. Всадник заставляет опуститься лошадь на колени, она кланяется публике. И больше ничего, все.

— Разрешите возразить, господин директор?

— Сделайте ваше одолжение.

— Лично я в данном случае против традиционного финала.

— Почему? — нахмурился Барбасан.

— В коленопреклоненной лошади что-то унижительное для этого прекрасного, гордого животного. Да и с точки зрения конной статуи это некрасиво. Наездник высшей школы должен покинуть арену без дешевых эффектов, как бы игнорируя наполненный зрителями амфитеатр.

— Вы полагаете? — вдумчиво спросил Барбасан и тотчас же поспешил согласиться. — А ведь верно. Тонкое замечание! Альбано, ты согласен?

— Согласен. Хотя нахожу это новшество немного смелым.

— Друг мой, всякое новшество само по себе смело. Нет, он прав, тысячу раз прав. Долой

традиционный финал. Нет, Ренни Гварди, у вас голова хорошо сидит на плечах, вы чувствуете лошадь, и мы с вами сделаем дело. Месяц еще поработаем в Париже, вплоть до мертвого сезона, а там перекочем куда-нибудь — я еще сам не решил, куда...

Днем цирк всегда сер и будничен, особенно для тех, кто привык посещать его вечером, когда он залит яркими потоками электричества, и в этих потоках живет и трепещет пестрая нарядная толпа.

Ренни Гварди впервые очутился в цирке в часы репетиции. Все казалось таким полинялым, выцветшим. Проступали все изъяны на бархатной обивке лож и кресел. Места галереи, высоко над всем этим, пропадали в тусклых сумерках. А еще выше, у самого купола, поблескивали как-то холодно и совсем не нарядно металлическими частями своими трапеции и какие-то еще более сложные аппараты.

Песок арены, по вечерам такой желтый, грязно-бурым казался сейчас при дневном свете, струившемся от купола сквозь маленькие квадратные окна, открытые вентиляцией

ради. В одной из лож сидела группа артистов: мужчины в мягких каскетках и свитерах, женщины, одетые более чем по-домашнему. Но это не было небрежно, неряшливо, это было экономно до скудости. Цирковые артистки вообще никогда не наряжаются, их отцы и мужья любят их такими, какие они есть, а до чужих им нет никакого дела. Прошли времена, когда наездницы и канатные плясуньи были в моде как женщины, имели богатых поклонников. Теперь это все скромные труженицы — не более, и вся их жизнь проходит между семьей и ареной. Перед каждым представлением, да и во время самого представления, воздух очищается и освежается при посредстве нескольких гигантских пульверизаторов, брызгающих мельчайшей жидкой пылью ароматных эссенций. А сейчас без этих эссенций на арене пахло цирком — особенный запах конюшни, диких зверей, чего-то затхлого и еще чего-то неуловимого.

Конюх держал Галифе в поводу. Ренни Гварди залюбовался мощным стройным гунтером. Вычищенный до глянца вороной Галифе казался отлитым из одного куска драго-

ценного неведомого металла. Застоявшийся гунтер нетерпеливо рыл копытами песок и с похрустывающим звуком грыз мундштучное железо.

Ренни Гварди взял от Барбасана стек, уверенно подошел к Галифе, разобрал поводья и одним цепким прыжком, не коснувшись стремени, очутился в седле. И как в самом Ренни Гварди, так и в этом его прыжке было что-то двойственное. Сказался умеющий вольтижировать кавалерист и, кроме того, еще наездник, наездник по крови, по духу, быть может, потомок целого ряда поколений горских или степных полудиких всадников, сраставшихся, сживавшихся с конем, как центавры.

Начало обещающее. Довольный Барбасан переглянулся с Альбано. Сидевшие в ложе артисты, примолкнув, с интересом следили.

Ренни Гварди пустил Галифе галопом вдоль барьера, и хотя всадник был в обыкновенном костюме, в «комнатных» брюках на выпуск, никто этого не заметил, так безукоризненно красива, изящна была его посадка.

Перейдя на высшую школу, на испанский

шаг, Ренни Гварди легким прикосновением стека заставлял гунтера выбрасывать передние ноги, и это выходило так гладко, чисто, с такой изумительной чеканной отчетливостью, как если б этот всадник, впервые севший на Галифе, «работал» его несколько месяцев.

— Довольно, довольно, — воскликнул Барбасан. — Я вижу, с кем имею дело. Довольно...

Через минуту все трое были опять в кабинете. Из ящика письменного стола Барбасан вынул контракт с готовым напечатанным текстом. Надо было лишь проставить имена, даты, условия и скрепить двумя подписями. Когда все было сделано, Ренни Гварди получил аванс в размере трех тысяч франков.

— Я вряд ли ошибусь, сказав, что это ваши первые заработанные деньги, — заметил Барбасан, с пытливой ласковостью глядя на вновь приобретенного артиста своей труппы.

— Я сам только что подумал то же самое, — ответил Ренни Гварди.

— Итак, послезавтра к девяти вечера вы будете уже в уборной. Ваша уборная общая с ковбоем Антонио Фуэго и кавказским князем.

Так сказать, товарищи по оружию. Захватите маленький чемоданчик с фрачной парой, лакированные ботинки со шпорами, а к панталонам необходимы штрипки. Это вам портной в десять минут пришьет.

Ренни Гварди уже собирался уходить, старый Гвидо задержал его:

— Да, совсем забыл, а как вас поставить на афише? Ренни Гварди — это красиво звучит. Вы ничего не имеете против?

— Решительно ничего, господин директор.

Когда Ренни Гварди ушел, Барбасан хлопнул по плечу бывшего клоуна.

— Что, дружище, какво приобретение, а? Такого наездника высшей школы днем с огнем поискать. Это мужчина, это класс, это я понимаю...

— Должен иметь успех.

— Женщины будут с ума сходить. Фигура, посадка. Наверное, какой-нибудь прогоревший граф или маркиз. Как ты думаешь? Какой национальности этот молодчик, называющий себя Ренни Гварди?

— Трудно сказать... По-французски говорит хорошо, но не француз. Русский? Нет, вряд ли

русский. Но не будем ломать наши головы. Сейчас он загадка для нас, а потом, потом мы его расшифруем. А самое главное — он поднимет сборы. Потянет элегантную публику... Это самое главное.

5. ЧТО-ТО НЕЛАДНОЕ

Получив аванс, Ренни Гварди тотчас же поспешил в отель расплатиться. Взяв внизу у портье ключ от своего номера, наездник высшей школы распорядился, чтобы к нему явились со счетом.

Парадный, сверкающий, весь в зеркалах, лифт мчал Ренни Гварди на пятый этаж, а другим, более скромным лифтом, более медленно поднимался человек во фраке с внешностью сановника, и не демократического, а настоящего.

Он приблизился к комнате Ренни Гварди, когда тот открыл дверь и вошел к себе. Стук, стук...

— Мосье позволит?

— Антре. — Гварди хотел еще что-то прибавить, но его внимание отвлекла записка, лежавшая на видном месте.

Взяв ее и пробежав с изумлением, Ренни Гварди так взглянул на человека во фраке, что тот сразу понял: во-первых, записка менее всего понравилась содержанием своему постояльцу, который хочет уплатить двухнедельный счет, а во-вторых, она, эта записка, очутилась в комнате Ренни Гварди без ведома прислуги.

И дабы в этом убедиться, обладатель британской сано́вничьей физиономии подошел к дверям и позвонил, сначала трижды, а затем, сделав паузу — дважды. И не успело замолкнуть в конце коридора сухое дребезжание, как на зов явились горничная и лакей.

Ренни Гварди показал кусочек бумаги.

— Это положил на стол кто-нибудь из вас?

— Нет, мосье, — ответил лакей.

— Нет, мосье, — ответила горничная.

— Значит, без вашего ведома кто-нибудь успел проникнуть в мою комнату? Мой ключ висел у портье, а ваш? — обратился к горничной Ренни Гварди.

— Мой все время был у меня. Как только мосье вышел утром, я тотчас, убрав комнату, ключ унесла к себе, в нашу служебную кабин-

ку, где всегда кто-нибудь из нас дежурит и куда никто из посторонних не может войти незамеченным.

— А вы что скажете? — обратился господин во фраке к лакею.

— Я ничего не понимаю, — ответил тот искренно, без малейшего смущения.

— Однако же факт налицо, — настаивал Ренни Гварди. Кто-то был у меня, — и, вспомнив вчерашний обед с шоколадным кремом, Гварди добавил. — Никто из вас не видел брюнета с черной бородкой, черными усами и со шрамом на щеке?

Горничная и лакей ответили отрицательно.

— Вам не примелькался этот господин? — обратился Гварди к человеку во фраке. — Он не живет в вашем отеле?

— Я догадываюсь, о ком говорит мосье. Да, да, черная бородка, усики, шрам. Это некий Церини. Он занимает 216 номер во втором этаже. Неужели мосье подозревает?

— Да, и не без основания. Вы больше не нужны, — обратился Гварди к лакею и горничной, отпуская их. Оставшись вдвоем с

олимпийцем, он протянул тысячефранковый билет.

— О, мосье, это далеко не так спешно, вы могли бы подождать.

— Нет, зачем же? Получите.

— Merci! Mille fois [1]. Смеею спросить, мосье останется у нас?

— Не знаю, может быть. Но если и останусь, переменю комнату на более скромную.

— Я постараюсь угодить мосье. Этажом ниже прекрасный маленький номер, уютный и вдвое дешевле. Мосье потрудится взглянуть?

— Не сейчас.

Человек во фраке понял: мосье желает остаться в одиночестве. Вынув объемистый бумажник, отсчитал сдачу и с низкими поклонами, пятясь к дверям, исчез.

Ренни Гварди, вооружив глаз стеклом, еще раз перечитал повергшие его в изумление строки. И все время сквозь крупный текст на плохом французском языке он видел человека со шрамом и в светло-сиреневом жакете. Первым движением было разорвать записку и бросить клочки в корзину. Ренни Гварди, передумав, сунул записку в карман.

Он ли, этот щеголь дурного тона, не он ли, во всяком случае кто-то здесь похозяйничал в отсутствии его, Ренни Гварди. Надо осмотреть чемоданы, все ли цело. Субъект, подобравший ключ к дверям, без сомнения, обладает секретом с такой же ловкостью проникать и в чужие чемоданы. Осмотр вещей, однако, убедил Ренни Гварди, что непрошенный таинственный гость не успел или не захотел ознакомиться с содержимым чемоданов. Ренни Гварди взглянул на часы. Без четверти два. Он спустился вниз, вышел из подъезда отеля, пересек Площадь Звезды, чтобы на авеню Виктор Гюго позавтракать в «Пикадилли».

На веранде, выходящей на панель, все было занято, и Ренни Гварди прошел в глубину ресторана, посещаемого главным образом англичанами и американцами.

Ренни Гварди, заняв свободный столик, склонился над щегольским, с затейливой виньеткой меню.

А над ним, в свою очередь, склонился гарсон во фраке и с переброшенной через локоть салфеткой.

— Monsieur désire? [2]

Гварди медленно поднял голову. Взгляд его встретился со взглядом вопрошавшего гарсона. И гарсон мгновенно преобразился. Еще не вполне веря себе, своим глазам, он уж сиял весь каким-то необыкновенным восторгом... Он вытянулся с манерой отлично воспитанного, хорошо дисциплинированного офицера, что в наши дни встречается все реже и реже. А затем у него вырвалась фраза на неведомом для всех окружающих языке, не понятая никем, за исключением того, кому она предназначалась.

Все еще неуверенный, все еще колеблясь, гарсон воскликнул:

— Ваше Королевское Высочество?..

Ренни Гварди на том же языке ответил не менее радостно:

— Анилл, ты? А я все время думал о тебе. Вот встреча!

И Его Королевское Высочество хотел пожать руку полковника князя Мавроса, но вовремя воздержался. Этим он сконфузил бы гарсона из «Пикадилли». Они и так уже были центром внимания, и даже невозмутимые британцы с соседних столиков с любопыт-

СТВОМ поглядывали на них.

— Мы обойдемся без демонстраций, — сказал Ренни Гварди. — Необходимо встретиться как можно поскорее. Когда и где я тебя увижу?

— Когда и где Ваше Высочество прикажете. Сегодня мой день, вернее, вторая половина дня. Через полчаса я буду свободен. Где-нибудь в кафе?

— Нет, я не хотел бы на людях. За мной следят. И у себя не хотел бы по той же самой причине. Самое лучшее у тебя. Где ты живешь?

— В двух шагах отсюда. Авеню Виктор Гюго, 11. Ровно через три четверти часа я жду Ваше Высочество у своего дома. А сейчас я буду иметь великое счастье служить своему государю. Я позволю себе рекомендовать бараньи котлетки, соус субиз. Это, кажется, одно из любимейших блюд мосье?

6. ПРИНЦ И ЕГО АДЪЮТАНТ

В стороне от больших европейских дорог лежало маленькое, но древнее королевство Дистрия. В течение многих веков правила им такая же древняя династия Атланов. Последним дистрийским королем был Догодар Атлан XII, — последним, так как несколько месяцев назад в Дистрии вспыхнула революция и, когда мятежная чернь двинулась на королевский замок, престарелый монарх скоропостижно скончался от разрыва сердца.

Сын Догодара и наследник короны его, принц Язон Атланский, герцог Родосский, находился в это время за границей, куца уехал инкогнито, даже без своего адъютанта, обыкновенно сопровождавшего принца во всех путешествиях. Этим адъютантом и был полковник князь Анилл Маврос.

Мы уже видели, как принц и адъютант обрадовались друг другу. Но радость их была не одинакова. Маврос был убежден, что герцог Язон Родосский, по всей вероятности, жив, и только внезапная встреча повергла полковника в такое ликующее изумление. Что же

касается принца, для него любимый адъютант как бы воскрес из мертвых: Язон считал Мавроса погибшим. По сведениям принца, большинство офицеров дистрийской армии, в особенности, занимавших положение при Дворе, было замучено и убито взбунтовавшимся народом, если только можно было назвать народом его подонки, его отбросы. И вдруг такая неожиданная-негаданная встреча в «Пикадилли». Одна мысль, что Маврос уцелел, вырвался из кровавого революционного пожара, наполнила принца таким счастьем, что отбила всякий аппетит. Он завтракал машинально, сжигаемый нетерпением скорее увидеть адъютанта с глазу на глаз.

Маврос подал принцу кофе, а минут через пять принц увидел Мавроса, стройного, в сером летнем костюме и в мягкой шляпе, выходящим из ресторана. Глядя на этого высокого брюнета с правильным, красивым лицом и с гордой осанкой, никто не признал бы в нем гарсона из «Пикадилли».

И еще через несколько минут Язон и Анилл встретились, обменялись крепким рукопожатием и таким взглядом, который оста-

ется в памяти на всю жизнь.

Почти во всех парижских домах прислуга живет не в одной квартире со своими господами, а в самом верхнем мансардном этаже, который так и называется «этажом для прислуги». Узкий коридор и по обе стороны его низкие небольшие комнаты с небольшим окном и скошенным параллельно крыше потолком. Обстановка этих комнат для горничных, лакеев и кухарок шаблонно скудная. Кровать железная, узенькая. Умывальник, комод, столик и стул.

В последние годы, когда в Париж хлынула русская эмиграция, некоторые свободные комнаты для прислуги отдавались внаем за 100 франков в месяц бывшим генералам, помещикам, вдовам видных чиновников. И князь Маврос, очутившись, как и русские, на эмигрантском положении, поселился в одной из таких комнат.

До революции один из знатнейших и богатейших людей во всем королевстве, он ютился теперь в убогой мансарде и в этой мансарде принимал того, кого считал своим королем, хотя и оставшимся без короны, без по-

данных, без территории, без армии, без всего, что вместе взятое являет собой государство.

— А здесь у тебя недурно... — заметил принц, опускаясь на единственный стул. И этими словами, и мягкой доброжелательной улыбкой он хотел ободрить своего адъютанта.

Князь Маврос так и понял.

— Ваше Высочество, я не ропщу. Многие наши дистрийцы, нисколько не хуже меня, очутились в более трудных условиях. Я свыкся с этой комнатой для прислуги и даже полюбил ее. Только вот зимой — здесь ведь отопления не полагается — было очень холодно. А ведь нам, южанам, и легкая французская зима кажется суровой. Да стоит ли говорить обо мне? Все это ничтожнейшие пустяки в сравнении с моей безумной нечеловеческой радостью. Я вижу Ваше Высочество перед собой, вижу в добром здоровье и, по всей вероятности, в не совсем плохих материальных...

— Ты не вполне угадал, мой дорогой, — перебил Язон. — Вчера еще у меня в кармане была какая-то мелочь, не превышающая и од-

ного франка.

— Может ли это быть? — воскликнул Маврос. — И как мы не встретились до сих пор? Ваше Высочество давно в Париже?

— Около месяца. Остальные пять я скитался по Европе, убегая от людей, и от самого себя, и от своих мыслей, так мучительно терзавших меня. Этот мятеж, повлекший за собой кончину бедного отца... Но ты, Маврос? Каким чудом спас и себя, и свою голову? Я считал тебя погибшим... Это не давало мне покоя.

— Именно чудом, Ваше Высочество, — подхватил Маврос. — О, это было несколько глав сенсационного романа, романа жизни, перед которыми бледнеет самая пылкая писательская фантазия. И, благодарение Богу, мне удалось не только унести свою голову, но, еще в тот самый момент, когда ворвавшаяся чернь занялась грабежом королевского замка, захватить с собою некоторые драгоценности, и в том числе знаменитое кольцо из двадцати трех скарабеев.

— Колье из скарабеев? Оно у тебя? — сделал порывистое движение принц.

— Оно вместе с остальными вещами Хранится в этом комодe, Ваше Высочество, если бы вам никогда не суждено было вернуться на престол ваших предков, в чем я самым решительным образом сомневаюсь, вы, имевший вчера несколько сантимов, будете богаты, очень богаты. Все ваше будущее, вся ваша жизнь обеспечены.

— А они убеждены, что колье у меня.

— Кто это — они?

— Маврос, я знаю столько же, сколько и ты. А может статься, тебе известно даже больше, чем мне. Меня преследуют. Во всяком случае, за каждым моим шагом шпионит какая-то подозрительная личность. Прочти эту записку. Я нашел ее у себя в номере. Без сомнения, и это не без участия моей тени. А моя тень — какой-то большеголовый брюнет шулерского типа. Я никогда не видел шулеров, не встречал, но я думаю — именно таков их жанр и стиль.

— Субъект со шрамом? В светло-сиреневой визитке?

— А ты почему знаешь?

— Догадываюсь. Я помню его еще по на-

шей столице. По нашей дорогой Веоле. Здесь он обедал несколько раз в «Пикадилли». Если я не ошибаюсь, он состоял в агентах у Мекси.

— У Мекси? — с живостью повторил Язон. — О, теперь это приподнимает завесу! Если Мекси еще нет в Париже, то со дня на день он должен появиться.

— Я сам того же мнения. Но Бога ради, Ваше Высочество, я жажду прочесть записку.

Маврос читал про себя, время от времени восклицая:

— Вот негодяи! Вот мерзавцы! Какая наглость! Как они смеют!

Анонимный автор требовал от Язона выдачи колье из скарабеев, взамен предлагая миллион франков. В случае согласия принц должен ответить на *poste-restante* [3] по адресу некоего *monsieur Gades*. Буде же принц не пожелает уступить колье, неизвестный автор грозит мстью и принятием таких мер, которые в конце концов заставят Язона капитулировать.

— Как бы не так, — угрожающе молвил Маврос. — Теперь мы вдвоем, и нам не страшны никакие темные силы, хотя бы во главе их

стояло десять Мекси вместо одного. Но о чем вы задумались, Ваше Высочество?

— Вернее, о ком? Я думал о тебе, Маврос, как на грех. Ты зарабатываешь на жизнь в качестве ресторанныго лакея, ютишься в этой мансарде, вместо того чтобы продать хоть одну из этих вещиц, — Язон кивнул по направлению комода, — жить припеваючи, не работая в «Пикадилли». Всем этим, — новый взгляд по направлению комода, — ты мог бы распорядиться, как если бы это была твоя собственность, — во всяком случае, по своему усмотрению. Друг мой, поверь мне...

— Ваше Высочество, я лишний раз убедился, что благородство ваше не исчерпано, — с горячностью перебил Маврос. — Но я без колебания отсек бы себе руку, если бы она потянулась продать во имя личной выгоды моей хотя бы ничтожную частицу драгоценностей моего королевского дома. Не только в ресторанные лакеи, на самые тяжкие физические работы пошел бы, не задумываясь, только бы сохранять все в целости до встречи с вами.

— Маврос, и у тебя язык поворачивается восхвалять чужое благородство, когда ты

сам... Я, право, не знаю даже, как это описать. Слов не хватает... Какое ни возьми, все будет бледно. Имея в ящике целое состояние, принадлежащее твоему другу, другу молодости, юности и даже детства, ты, сын владетельного князя, подаешь ростбифы и бифштексы у «Цикадилли» этим долговязым американцам, которые... Год назад любой из них почел бы за великое счастье выдать за тебя свою сестру или дочь, да еще позолотил бы твою и без того, впрочем, ярко сиявшую корону несколькими миллионами долларов. Но, я вижу, тебе желательно дать несколько иное направление нашей беседе. Изволь. Почему и это кольцо, и все остальное ты не снес куда-нибудь в банк, в сейф? Разве там не было бы в большей сохранности?

— Почему? А вот почему, Ваше Высочество. Прежде всего, надо было бы оплачивать это хранение довольно кругленьким процентом. Львиная доля моего заработка ушла бы на оплату сейфа, затем, после того как большевики в течение нескольких лет сбывают в Европе краденые сокровища императорского дома, к держателям этих сокровищ создается

отношение весьма и весьма подозрительное. Я рисковал тем, что вплоть до выяснения, до ваших показаний, — а где я мог бы вас найти? — французское правительство взяло бы все вещи под опеку. Что же до сохранности, то кому, хотел бы я знать, придет в голову, что в жалкой мансарде, занимаемой ресторанным лакеем, спрятано известное чуть не на весь мир кольцо из скарабеев, кольцо, которому нет цены? Теперь другое дело, теперь я так поступлю, как будет угодно Вашему Высочеству приказать.

— Мы об этом еще подумаем. Но вот, Маврос, ты ни за что не угадаешь, в какой роли я на днях выступлю и что мне дает и уже дало мои первые, слышишь, мои первые заработанные деньги.

— Заранее капитулирую. Угадать новое амплуа наследного принца Дистрии — задача не по силам, — склонив свою красивую голову, развел руками адъютант герцога Родосского.

— Да, пожалуй, ни за что не угадать, — улыбнулся принц. — Если послезавтра вечером вздумаешь пойти в цирк Барбасана, ты

увидишь наездника высшей школы. Этот наездник высшей школы — я.

— Ваше Высочество, это не более как шутка, — испугался Маврос.

— Нисколько. Это самая настоящая действительность. Сегодня утром я выдержал экзамен, подписал контракт на шесть месяцев и получил аванс.

7. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВЫ

Несколько минут Маврос молчал, пораженный, затем, овладев собой, сказал решительно:

— Это невозможно.

— Что?

— Ваше Высочество, вы не можете выступать в цирке.

— Почему?

— Вас узнают. Заговорят. Заговорит весь Париж.

— А мне какое дело? Пусть говорит. Если бы не Барбасан, я очутился бы на улице.

— Это было вчера, но сегодня материальное положение Вашего Высочества резко пе-

ременилось. Вы заплатите неустойку, а контракт изорвете в клочки.

— И не подумаю! Барбасан взял с меня слово: в течение шести месяцев я не покину его. Он спас меня в самый катастрофический момент. Я это ему не забуду никогда и никогда не отплачу такой низкой неблагодарностью. Маврос, ты, рыцарь чести, ты первый утратил бы ко мне уважение. Данное слово есть слово, а не звук пустой.

— Раз так, раз вы связали себя честным словом, тогда, конечно, о нарушении контракта не может быть и речи. Но все-таки, все-таки...

— Что все-таки? — горячо, с вызовом бросил принц. — Ты хочешь сказать, что мне, принцу Атланскому, герцогу Родосскому, неудобно выступать в цирке? Друг мой, теперь, в наше время, после того как прокатившаяся по доброй половине света революция смела и разорила десятки династий, теперь неудобно только совершать поступки, противоречащие понятиям о добром имени и о чести. Все же остальное удобно. Мы с тобой можем назвать добрый десяток принцев крови,

которые служат в банках, заведуют конюшнями американских миллиардеров и там же, в Америке, снимаются для фильмовых картин. Русский великий князь Александр Михайлович служит в каком-то торговом предприятии. Мой друг, это в настоящем, а в прошлом? Историю знаешь не хуже меня, знаешь, что потомок христианнейших королей Людовик XVIII был учителем математики в какой-то начальной школе, а Луи Наполеон, будущий император французов, занимался комиссионерством по продаже оливкового масла. И, наконец, чем только не занимались и кем только не были в погоне за куском хлеба принцы Бурбонского дома после того, как им удалось избежать гильотины? Ты скажешь: все это, мол, так, однако же это не был цирк. Да, это цирк, я же не буду кривляться и кувыркаться на арене на потеху толпы. Мой номер стильный и строгий — не потеха, а зрелище. Зрелище, которое не вызовет ни одной улыбки. Ну что, убедил я тебя?

— Ваше Высочество, у меня нет никаких возражений.

— Очень рад. А ты, Маврос, с завтрашнего

дня потрудись ликвидировать все свои счета с «Пикадилли». Нам хватит теперь и на двоих. Что такое? Ты недоволен?

— Это меня стеснит. Я хочу...

— Вздор, никаких возражений. На свободе ты найдешь что-нибудь получше.

— Как это понимать? Как дружеский совет или высочайший приказ?

— Как высочайший приказ, — улыбнулся принц.

— В таком случае я, верноподданный, беспрекословно повинуюсь.

— С завтрашнего дня ты оставишь свою мансарду и переедешь ко мне в отель «Фридланд». Если, разумеется, это не будет посягательством на твою свободу, и жизнь со мною вдвоем...

— Ваше Высочество, я готов обидеться. Разве это не вернет мне счастливейшие дни моей жизни, когда на охоте в африканской пустыне и на войне наши походные кровати стояли рядом в одной палатке?

— Хорошее время это было, Маврос! Какие воспоминания! — вздохнул принц. — Но ничего. Не будем сетовать, будем смело, с надеж-

дой и верой смотреть вперед, с благодарностью и любовью оглядываясь назад. Самое ценное, Маврос, — наша жизнь при нас. За это мы вечно должны быть признательны Богу, ведь могло быть иначе. Если б ты не спасся каким-то чудом и если бы в момент революции я находился в Дистрии, а не за ее пределами... Я вовсе не желаю сказать, что теперь все пойдет безмятежно и гладко. Да и не хочу этого. Во все не хочу. Было бы скучно и бледно.

— Вам угодно сказать, что нам предстоит еще борьба, вернее, мне. Борьба с человеком, у которого очень мало совести, но очень много миллионов, и с женщиной, которая умеет ненавидеть. Мекси и Медея Фанарет.

— Мекси и Медея Фанарет, — повторил Язон.

Эти два имени словно отозвались каким-то внутренним толчком в душе адъютанта, и он сказал:

— Ваше Высочество, теперь, когда вы здесь налицо, надо скорее озаботиться помещением драгоценностей в более надежное место, чем моя мансарда...

— Успеется... Отложим до завтра...

8. ДВАДЦАТЬ ТРИ СВЯЩЕННЫХ ЖУКА

Колье из двадцати трех скарабеев, этому бесценному сокровищу, суждено играть немалую роль в нашем повествовании.

Что такое скарабей? Это изображение священного египетского жука, приносившего счастье не только в земной жизни, но и в загробной. Обладание скарабеем являлось привилегией царствующей династии фараонов и самых высших жреческих и военных каст. В саркофагах вместе с мумией фараона, вместе с драгоценностями, которые он носил при жизни, клали десять, а то и двенадцать жуков из бирюзы, насчитывавших целые тысячелетия и за эти тысячелетия ставших из ярко-небесных бледно-оливковыми. В гробницы главных жрецов и военачальников клали только по одному скарабею.

Проходили еще тысячелетия, время и случай разрушали гробницы. Извлеченные мумии поступали в музей, а найденный при этом скарабей — в сокровищницу египетско-

го хедива. Знатным, очень знатным гостям, посещавшим Египет, хедив подносил в дар в виде особого благоволения по одному, а то и по два скарабея. Императрица Евгения, посетившая Каир во дни открытия Суэцкого канала, увезла в Париж целых шесть скарабеев, поднесенных ей хедивом Измаилом. Проявленная Измаилом щедрость облетела весь мир. Секрет щедрости хедива заключался в том, что он столь же безумно, сколь безнадежно влюблен был в красавицу Евгению.

Эти шесть скарабеев не дали счастья императрице французов, потерявшей корону, мужа и сына, так трагически погибшего в Центральной Африке.

Бабка Язона, королева Амелия, в течение тридцати лет коллекционировала скарабеи. Это обратилось у нее в страсть, почти в манию. Каждый из высокопоставленных дистриктов, уезжая в Египет, считал своим долгом вернуться со скарабеем для своей королевы. Когда таким образом их накопилось двадцать три, Амелия заказала из этих скарабеев кольцо художественной работы. Это была тончайшая паутина из платины, скреплявшая

двадцать три священных бирюзовых жука. Исключительное, единственное кольцо. Бриллианты, даже самые крупные, можно приобрести за деньги. Их много — бриллиантов. Скараabei же все на счету. С каждым годом их все меньше и меньше, и — это самое главное — скараabei в противовес бриллиантам не покупаемы, не добываемы и не вырабатываемы. У каждого своя история, история сотен веков... Самый молодой скараabei старше самого старого бриллианта, изумруда, рубина, любого из драгоценных камней, а главное, повторяем еще раз: драгоценным камням числа нет, были бы деньги. И сколько в недрах земли самоцветных сокровищ! Обладателями скарабеев являются избранные, и то благодаря большим, очень большим связям в придворных кругах Египта. Поясним это наглядным примером. Какому-нибудь Ротшильду, Моргану или Рокфеллеру гораздо легче купить или заказать кольцо из чудовищных бриллиантов, каждый размером почти с грецкий орех, чем стать обладателем хотя бы одного скараabei. И наоборот, какой-нибудь принц владетельного дома или монарх, для

которого даже один бриллиант величиной с грецкий орех — роскошь не по силам и не по средствам, может получить скарабей от хедива как знак внимания к своей голубой крови. Да, положение и голубая кровь!

В этом какая-то особенная аристократическая наследственность скарабеев. От коронованных и знатных покойников они переходили к живым людям такой же благородной расы и древней изысканной породы. Переходили после того, как пять-шесть тысяч лет бледнели, перекрашиваясь, и становились жуткими, мистическими в потемках гранитного саркофага.

Династии великих империй, разметавшихся в нескольких частях света, обладали скарабеями. И больше всего их было у турецкого султана Абдул-Гамида. Но у Амелии, этой королевы маленькой экзотической Дистрии с пятимиллионным населением, оказалось вдвое больше скарабеев, чем у Абдул-Гамида. Овдовев, Амелия подарила кольцо молодой царствующей королеве Петронелле, супруге своего сына. И так переходило оно из поколения в поколение. И если б принц Язон женил-

ся, колье из скарабеев украсило бы шею той, которая сидела бы вместе с ним на троне Атланов.

Но все это еще далеко не конец. Это лишь только начало. Можно сказать, что колье из скарабеев, если и не прямо повлекло за собою революцию в Дистрии, то, во всяком случае, явилось далеко не последним поводом, ускорило ее, дав толчок.

9. ЩЕЛЧОК ПО НОСУ

Медею Фанарет как артистку, исполняющую, главным образом, восточные танцы, знали хорошо и в Старом, и в Новом Свете. В несколько лет она создала себе мировое имя. Но никто не знал, не мог ничего сказать об ее происхождении. Откуда она? В какой среде воспитывалась? Из какой семьи? Об этом было много предположений, догадок, но опять-таки ничего определенного.

Называли ее креолкой с Мартиники, называли чуть ли не персиянкой, и хотя Медея Фанарет, пожалуй, не была ни той, ни другой, но все же смугло-матовая, с большими огненными глазами, скорее походила на креолку, чем

на персиянку. И тело у нее было такое же смугло-матовое, почти бронзовое, если бы оно было немного темнее.

Свои выступления Медея Фанарет обставляла весьма эффектно. И надо отдать справедливость, это ей удавалось. Яркие восточные декорации. Отдаленные звуки гонга. Полумрак на сцене. Силуэты двух неподвижных рабынь возле двух гигантских, дымящихся благовонных курильниц. И на этом фоне появлялась гибкая, прекрасно сложенная, полунагая танцовщица. Более чем полунагая. Весь наряд ее заключался в украшениях из металла и цветных камней в виде головного убора и прикрытия для бедер и для груди.

Было ли подлинное искусство в танцах Медеи Фанарет? Было, несомненно было, но поклонники и поклонницы сходили с ума больше от общего настроения и дивных пластических форм танцовщицы и умения владеть ими, чем от ее «искусства».

Не ограничиваясь большими европейскими столицами, модными курортами, как Биарриц, Остенда, Монте-Карло, Медея, разрываемая на части желающим заработать «на

ней» импресарио, гастролировала и в маленьких столицах маленьких королевств и республик.

Так очутилась она и в Веоле, скромной столице Дистрии.

Дирекция королевского театра отказалась уступить под ее гастроли свою сцену, заявив ее импресарио, что танцы госпожи Фанарет несерьезны и более подходят для кафе-шантана или варьете. Но так как ни кафе-шантана, ни варьете не было в патриархальной Веоле, то наскоро приспособили лучший и обширнейший из местных кинематографов.

Наследный принц находился в это время в Веоле. Ему очень хотелось посмотреть и самое Фанарет, и ее танцы. Он читал и слышал о Медее, видел ее портреты, но самое Медею не видел. Это было случайность, так как по обыкновению часть года он всегда проводил за границей.

Возник вопрос — вопрос этикета: как быть? Принцу неудобно появиться в кинематографе, но выход был найден. Язон вместе со своим адъютантом, оба в штатском платье, незаметно прошли в закрытую ложу. А рядом

в открытой ложе сидел Адольф Мекси, один из богатейших банкиров и дельцов не только в Дистрии, но и во всей Европе. В годы великой войны Мекси нажил колоссальные средства на поставках в армию, причем он снабжал не только Францию, Россию, Англию, но и враждебные им Германию, Австрию и Турцию.

Адольфу Мекси было тогда лет сорок, а в его мясистом, широком, бритом лице было что-то бульдожье, бульдог в пенсне. Да и в жизни Мекси представлял собою человеческую разновидность бульдога, бравшего все мертвой хваткой. Все, начиная с удовольствий и кончая материальными благами. Это был жестокий, холодный хищник, готовый шагать через трупы, если это вело ближе к намеченной цели. И фигура Мекси — под стать его бульдожьей физиономии — коренастая, крепкая, с короткой шеей и короткими ногами.

Между этими двумя ложами, закрытой и открытой, началось соперничество... Мекси велел заготовить в кулисах цветной магазин в миниатюре. Около двадцати корзин всевоз-

можных оттенков, величин и форм. Какая-то цветочная оргия. Тут же вертелся большеголовый человек со шрамом, в неизменной светло-сиреневой визитке и в таком же сиреневом цилиндре.

Перед поднятием занавеса Медея Фанарет, уже одетая, вернее, раздетая для своего номера, с густым ярким гримом на лице, подчеркивающая им ее «восточность», накинув легкий шелковый пеньюар, вышла сделать предварительный смотр цветочным подношениям. У каждой корзины карточка, и на каждой карточке: «Адольф Мекси», «Адольф Мекси» и так без конца. Правильнее, до самого конца.

Человек со шрамом, убедившись, что это произвело впечатление на артистку, улучив момент, расшаркался, сняв свой «водевильный» цилиндр:

— Госпожа Фанарет позволит представиться: Церини, Ансельмо Церини.

Это ничего не сказало Медее, и, окинув полупрезрительным, полунедоумевающим взглядом этого провинциального щеголя, она ответила ему небрежным кивком головы, который одинаково мог сойти и за поклон, и за

нечто переводимое так: «Нельзя ли меня оставить в покое?»

Другой на месте Церини, без сомнения, приуныл бы, но он не принадлежал к числу унывающих. Он тотчас же нашелся:

— Мой патрон — Адольф Мекси, великий ценитель искусства. Это по его поручению я озаботился, чтобы знаменитая Медея Фанарет была встречена подобающим образом, — и он широким жестом указал на стоявшие несколькими рядами корзины.

После этого Медея отнеслась к Церини с некоторым вниманием.

Никогда не следует пренебрегать секретарем человека, ворочающего миллионами. Это она знала по опыту. А Церини, становясь уже смелее, продолжал:

— Мой многоуважаемый патрон дал мне весьма лестное поручение просить вас, госпожа Фанарет, о том, чтобы вы были так любезны украсить своим присутствием маленький интимный ужин, который он сегодня дает в вашу честь в своем роскошном палаццо...

Фанарет поняла: надо держать фасон. Пусть этот Мекси богат, пусть у него роскош-

ный дворец, но, однако, пусть же не думает он, что ее так легко прельстить ужином.

А Церини полузаискиваяще, полунахально улыбался в ожидании ответа, несомненно благоприятного. Но в данном случае он ошибся.

Ответ был таков:

— Меня несколько удивляет самоуверенность господина, господина Метакси.

— Мекси, — со священным ужасом поправил Церини.

— Пусть будет Мекси. Как же так? Не будучи мне представленным, не заручившись моим согласием, он уже зовет гостей на ужин в мою честь. Это, это даже не самоуверенность, а нахальство...

Церини больше уже не улыбался. Он так покраснел, что на его щеке шрам стал багровым.

— Но, глубокоуважаемая госпожа Фанарет, это же невозможно. Что же будет? Это же страшный удар для моего патрона...

— Это уже как вам угодно. Ваш патрон получит вполне заслуженный урок...

И с этими словами Фаварет, сделав на-

смешливый реверанс, впорхнула в свою уборную.

Церини остался в глупейшем положении. Что он скажет своему патрону? И, как ни оттягивал человек со шрамом неприятный момент, делать нечего, надо идти в ложу с докладом, за который ему, конечно, влетит... Мекси обозлится, а в такие минуты он не стесняется выражениях.

Не успела Фанарет очутиться в своей крохотной, насыщенной косметиками, духами и запахом ее тела уборной, постучали в дверь...

10. ВЫСОЧАЙШЕЕ ВНИМАНИЕ

Надо ли пояснять: Медею Фанарет во всех ее артистических турне, путешествиях и поездках сопровождала ее собственная горничная. Фанарет была слишком яркой «звездой», чтобы во время гастролей своих прибегать к помощи какой-нибудь случайной прислуги. В течение уже нескольких лет бессменной горничной при Медее состояла немолодая, некрасивая, костистая и черная испанка Мария. Взгляд ее черных глаз на худом бледно-синеватом лице нельзя было никак на-

звать ни приветливым, ни добрым, хотя, может быть, в глубине души Мария была и приветливой, и доброй. Может быть, почему знать? Говорят же: чужая душа — потемки.

Мария не была бы испанкой, если бы не одевалась во все черное. Это сообщало ей какой-то зловеще-траурный вид.

И госпожа, и горничная успели привязаться друг к другу, хотя вкусы и взгляды на жизнь у них были разные. Разные — до политических убеждений включительно.

Фанарет была монархистка, Мария же — республиканка, и в этом отношении никому, даже самой Фанарет, не уступала своих позиций.

Был такой случай в Париже, примерно за год до приезда Медеи в Веолу.

Фанарет жила на Вандомской площади в отеле Ритц. К ней обещал заехать на чашку чая инфант Луис, кузен короля Альфонса. В ожидании принца крови царствующего испанского дома Фанарет, зная республиканские убеждения своей Марии, забеспокоилась. Свое беспокойство она не скрывала от горничной.

— Мария, ты знаешь, через полчаса ко мне придет Его Высочество инфант Луис?

— Знаю.

— Знаешь ли ты, Мария, что, как испанка, по этикету должна будешь поцеловать ему руку?

— Знаю, но Луис от меня этого не дождет-ся. Это было бы противно моим убеждениям.

— Так и не поцелуешь?

— Так и не поцелую.

— Твое дело, заставить не могу. Но полагаю, Мария, ты не будешь держать себя вызывающе?

— Мадам, я хотя и прислуга, но обходиться с людьми умею, — огрызнулась камеристка, сжав тонкие губы и совсем не ласково блеснув глазами.

— Видишь, я хотела сказать ему, что ты испанка. А теперь не скажу.

— Это ваше дело...

Когда Луис вошел, Мария встретила его сухим церемонным, однако вполне учтивым поклоном.

Вот именно эта самая «республиканка» и подошла к дверям уборной, когда раздался

стук, и приоткрыла их. Красивый, высокий господин, вполне джентльменского вида, протянул ей карточку. Протянул театральной горничной. Закрыв дверь, она передала карточку Медее.

— Князь Анилл Маврос, гвардии полковник, первый адъютант Его Высочества наследного принца.

Этого было достаточно вполне.

— Проси...

Едва Маврос вошел, Мария уже очутилась в коридоре. Во-первых, эта крохотная уборная едва ли вместила бы трех человек, а во-вторых, горничная знала раз навсегда: она может лишь в тех случаях оставаться, когда гость назойлив, скучен, Фанарет желает поскорее его сплавить.

— Очень рада, очень рада, — молвила с кокетливой улыбкой Фанарет, одной рукой придерживая на груди готовый раскрыться пеньюар, а другую протягивая князю.

В уборной было лишь два стула. Опустившись на свой у туалетного столика, Медее указала Мавросу на другой.

В виде вступления Маврос сказал несколь-

ко комплиментов и, как человек светский, сделал это с тактом и чувством меры, сумев остановиться как раз там, где уже начинались приторность и пошлость. За вступлением последовала сущность визита.

— Мадам Фанарет, вам угодно быть представленной Его Высочеству принцу Язону Атланскому, герцогу Родосскому?

— О, конечно, конечно, князь. Сочту для себя за великую честь.

— В таком случае... Сколько еще времени до вашего выхода?

— До моего выхода? Минуть десять-пятнадцать.

— В таком случае не откажите в любезности пройти вместе со мной в ложу Его Высочества, это сейчас же сбоку сцены. Ложа закрытая, вас никто не увидит.

Фанарет, научившаяся держать себя с коронованными особами, лицом к лицу с Язоном в густом полумраке ложи присела в глубоком придворном реверансе, и тогда лишь подала руку, когда Его Высочество протянул свою.

Зная, что ей надо спешить на сцену, принц

не удерживал ее, он только сказал:

— Мне было бы очень приятно побеседовать с вами на свободе. Если после спектакля вы не заняты, прошу отужинать со мной у Минелли.

— С удовольствием, Ваше Королевское Высочество. С громадным удовольствием, — и в полумраке блеснули подведенные густым гримом глаза, сверкнули белые зубы, такие ослепительные на фоне ярко накрашенных губ. И то и другое было в меру кокетливо и в меру многообещающе.

— Милый князь Маврос будет вашим кавалером, сопровождающим вас туда, где я буду вас ожидать... с нетерпением, — добавил принц, — а сейчас буду восхищаться вашими прелестными танцами.

Медея поняла: короткая аудиенция в закрытой ложе закончена. Вновь придворный реверанс, всколыхнулась тяжелая портьера, и Фанарет уже не было. Остался пряный, крепкий, раздражающий запах ее духов и еще более раздражающий запах ее тела.

Веселая, радостная, возбужденная впорхнула в свою уборную.

— Мария, слышишь, Мария? Он очарователен, этот принц. Ты республиканка, можешь сколько тебе угодно шипеть.

— Я и не думаю, и не собираюсь шипеть.

— Молчи и слушай, раз я говорю. Можешь шипеть сколько тебе угодно, а только что может быть лучше породы и голубой крови? Он даже некрасив, но то, что в нем — лучше, дороже всякой красоты. И ужин с ним в отдельном кабинете я не променяю ни на какие ужины в палаццо разбогатевшего парвеню. Он думал ошеломить меня двадцатью корзинами цветов. Как будто я не видела цветов! Я очень рада оставить его с носом. Ты видела, каков адъютант принца? Выдержанный, корректный, ни одного лишнего слова, а тот, кого прислал Мекси, возмутительный «мовэ сюже». Да и сам Мекси, вероятно, такой же «мовэ сюже» [4].

Мария слушала с неподвижным костистым лицом, и не было на этом лице ни одобрения, ни осуждения — ничего не было...

Медея продолжала бы еще и еще, но открылась дверь и просунулась, как бильярдный шар, лысая голова режиссера с усами-пи-

явками.

— Несравненная мадам Фанарет! Ваш выход, все готово, пожалуйста на сцену...

11. НЕ ВСЕ МОЖНО КУПИТЬ

Фанарет самое себя превзошла в этот вечер. В самом деле, редко плясала она с таким подъемом, таким темпераментом. Это бывало с нею, когда, увлекаясь сама, она хотела увлечь мужчину, спутать шелковой сетью своих чар и для него, только для него танцевала.

Сегодня Медея танцевала для своего принца.

— Принц, мой принц, мой волшебный принц. Тебя уже тянет ко мне, но потянет еще больше после того, как ты меня увидишь, — беззвучно шептала Медея перед самым выходом на сцену.

Слов нет, она предпочитала общество королей и принцев всякому другому обществу. Но Язон овладел ее воображением не только потому, что был «королевским высочеством». Он сам по себе, как мужчина ударил по нервам эту страстную женщину. А уж она ли, Ме-

дея Фанарет, не видела мужчин и не научилась разбираться в них наметавшимся опытным глазом?

Все ей нравилось в нем. И рост, и отлично сложенная фигурами эта чуть уловимая притягивающая смесь, смесь утонченного европеизма с таким же утонченно-азиатским. Создавая его, природа взяла кое-что, с одной стороны, у монгольских ханов, арабских калифов, с другой же, — внесла кое-что и от сицилийских Бурбонов, от Савойского дома, Брабантского, от всех династий, с которыми на долгом протяжении веков роднились Атланты Дистрийские.

И в полумраке закрытой ложи Фанарет успела оценить и запомнить все это. И темные глаза с поволокой — темные, что бывает очень редко. Только Медея не знала еще, что эти глаза умеют быть гневными, до жестокости гневными, и тогда уже исчезает поволока, и они горят, как у тигра или у какого-нибудь восточного властелина. Это, однако, смягчалось изысканным рисунком рта, благородством всей нижней части лица.

«В мундире он должен быть еще интерес-

нее, еще», — подумала Фанарет, покидая ложу...

А сейчас, сейчас она танцевала для него и только для него, забывая, что танцует для всех, а также для человека с бульдожьим лицом и бульдожьими челюстями. И когда в сладострастных изгибах своего более чем полуобнаженного тела под заунывный восточный мотив Медея бросала изнемогающие от страсти взгляды по направлению ложи принца, Адольфу Мекси казалось, что все это по адресу именно его, Мекси. Казалось, хотя для него не было тайной посещение Медеей ложи принца. Вообще для этого человека, все покупавшего и за все платившего, не было тайн или почти не было.

Бешеная злоба закипала в нем к счастливому сопернику. И чем больше росло это чувство, чем более от него ускользала, в самом начале хотя бы, Медея, тем более это распяляло в нем желание овладеть ею, овладеть ценной каких угодно безумных денег.

И он добьется своего, добьется. Терпение и выдержка, выдержка и терпение. Что такое Язон по сравнению с ним? Бедный принц бед-

ного королевского дома, бедного потому, что он, Мекси, богаче, по крайней мере, в сто раз и при желании мог бы разорить не только династию, а и всю страну. И разорит, разорит, если только пожелает этого.

Веселый ужин был, ужин втроем, ужин в кабинете у Минелли, а ужин в роскошном палаццо Мекси немногим разве оживленней был похоронных поминок. Вначале Мекси думал отменить пиршество, но приглашенные гости были все народ влиятельный, с крупным положением, и Мекси, ни с кем не церемонившийся, однако, не решился приказать лакею:

— Меня нет дома. Отказывать всем.

И гости съехались, предвкушая удовольствие и честь поужинать в обществе мировой знаменитости.

Вынужденный впустить их, кормить, поить и еще занимать, Мекси очутился в преглупом положении. Трудно представить глупее. Что он скажет этим банкирам, сановникам? Чем объяснит отсутствие Фанарет? Солгать что-нибудь, выдумать? Но нельзя ни солгать, ни выдумать в этой провинциальной

столице, где известен каждый шаг мало-мальски видного человека.

Завтра же узнают все то, что Мекси уже знает сейчас. Вездесущий, всюду щюникающий, одаренный нюхом легавой собаки, Церини успел выследить Фанарет и князя Мавроса и успел донести патрону своему, что они помчались в закрытой машине к Минелли, где в кабинете № 2 их ожидал принц Язон.

Церини хотел добавить еще какую-то подробность, но взбешенный Мекси топнул ногой и, замахав руками, выгнал его из маленького интимного кабинета. А в другом гигантском кабинете, таком же гигантском, как тяжелая массивная мебель, собралась мужская компания гостей, человек в пятнадцать. Мрачный, злой, с трясущейся бульдожьей челюстью вышел к ним хозяин, и все поняли, что Фанарет не будет, но никто не смел заикнуться об этом. Даже переглядывались с какой-то опасливой украдкой. Всем этим людям было и под сорок и много за сорок, все они были в богатстве и внешних почестях, но все они чувствовали себя перед Мекси робкими школьниками, ибо он, Мекси, был во много

раз богаче, могущественнее, чем все они, вместе взятые.

Он это сознавал еще рельефное и ярче, нежели они сами. Обыкновенно это сознание наполняло Мекси чем-то самодовольно-тщеславным. На этот раз он, может быть, впервые усомнился в своем почти беспредельном могуществе. На этот раз принц, бедный принц, оказался сильнее его, и потому именно, что он принц. Обаяние титула королевского высочества, представителя тысячелетней династии — с этим надо родиться. Этого ни за какие миллионы не купить. Не купишь, не уничтожишь, не вычеркнешь, ибо это уже история, традиции, переживающие человека.

Пусть так, но все же и они, получающие уже в колыбели титулы, чины, ленты, короны и звезды, все же и они уязвимы. И еще как уязвимы!

Где царь Николай Второй, недавний повелитель части земного шара? Где цезарь Карл Австрийский? Где император Вильгельм? Где остальные короли, большие и малые принцы, великие герцоги?

И когда внушительный метрдотель, по-

явившийся на пороге кабинета, доложил: «Кушать подано», в голове Мекси уже назревал гневный и отравленный местью план.

Так мелкое, узко-корыстное влечет за собой великие потрясения...

Мекси до того не сомневался в присутствии за ужином знаменитой Медеи, что велел заменить на этот раз обычный продолговатый стол большим круглым, четыре с половиной метра в диаметре. У каждого прибора стояли цветы в хрустальных вазах, бутылки с вином, дорогим, редчайшим. Но центр оставался свободным, и этот свободный круг был величиной с маленькую сцену. Предполагалось, Мекси предполагал, что после ужина Фанарет выполнит на столе какой-нибудь танец. А в это время хозяин и гости, поднявшись с бокалами шампанского, будут любоваться ею.

Мекси особенно рассчитывал на этот эффектный трюк, хотя не новый, однако же всегда и везде вызывающий восторги у мужчин, разгоряченных вином и близостью полунагого недоступного женского тела, извивающегося в сладострастных движениях.

И ничего этого нет. Ни Медеи, ни ее пляски на круглом столе. Она предпочла всему этому великолепию дрянной кабинетик у Минелли, а Язона предпочла ему, Мекси. Дорого, очень дорого поплатятся они оба за это. Хозяин молчал, сопел, хмурился, не скрывая, не желая скрывать своего настроения, и пил, пил много, как никогда, пил, не прикоснувшись ни к одному из блюд. Гости, хотя ели и с аппетитом, но, чувствуя себя виноватыми, ненужными, лишними, переговаривались между собой таким сдавленным шепотом, как если бы в этой громадной столовой в два света находился тяжелобольной.

12. В КАБИНЕТЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ

А там, в кабинете ресторана, было очень молодо и очень весело. Эти молодость и веселье били ключом, но более духовно, темпераментно, чем внешне. Внешне все было скромно и естественно, по-весеннему светло и ясно. И смягченные звуки оркестра, как-то облагороженно мягко доносившиеся из общего зала, дополняли и поэтизировали настроение.

Фанарет, уже не в сценическом гриме, а в том легком, искусственном, без которого не обходится ни одна желающая нравиться женщина, нисколько не проигрывала в своей знойно-полуденной красоте.

Их тянуло неудержимо, непреодолимо тянуло друг к другу — Фанарет и Язона. И сознание, что между ними есть третий, которого надо стесняться, наполняло их острым сдержанным волнением, и поэтому тяготение было еще напряженнее, волей-неволей вынужденное ограничиваться таким горячим блеском глаз и случайным, вернее, не случайным, прикосновением нетерпеливо переплетав-

шихся пальцев. Говорили коротко, отрывисто и так же коротко, отрывисто, нервно смеялись. Вино не ударяло в голову только потому, что и без вина Медея и Язон были пьяны друг другом.

Маврос принимал участие в ужине, говорил, шутил, смеялся. Все это выходило весьма непринужденно, однако без малейшей тени того фамильярного покровительства влюбленным, избежать которого так трудно и тяжело. Маврос много пил, но у него была привычка пить, выработанная хорошим кавалерийским полком, придворным мужским обществом, и он ни на один миг не забывал, что перед ним, с одной стороны — наследный принц, с другой — звезда варьете, не светская женщина, именно поэтому требующая особенно корректного, бережного к себе отношения.

Ему следовало исчезнуть вовремя. Да, вовремя, и это необходимо сделать с чувством меры. Плохо не досидеть, но еще хуже — пересидеть. В первом случае — как бы подчеркнутое желание оставить вдвоем артистку и принца. Во втором случае — и артистка, и

принц уже тяготились бы его обществом.

И со свойственным ему тактом Маврос, учтя «психологический» момент, вышел, незаметно для Медеи переглянувшись с Его Высочеством. Пройдя в соседний пустой кабинет, князь Анилл потребовал счет и, заплатив, дав щедрые чаевые лакею, приказал не беспокоить находящихся в кабинете № 2 и следить, чтобы никто из гостей не влез туда по ошибке. Едва Маврос закрыл за собою дверь, Язон, встав, медленно подошел к Медее, и в этой медленности, и в выражении лица Язона неподвижного — все, все ушло в горящие глаза — было что-то неумолимое, как судьба. Медея так и поняла, и затаилась, прижалась, точно в испуге. Сильная страсть всегда пугает как мужчин, так и женщин.

И вдруг — он уже был совсем близко, — неподвижное лицо исказилось невыразимым чем-то, где было нетерпение, и блаженство, и мучительная боль, и, схватив Фанарет в объятия, он поцеловал ее в полуоткрытые зовущие губы...

Так начался их роман.

Продолжать его в столице было неудобно

во всех отношениях для Язона при его исключительно заметном положении.

Не обобратся бы сплетен, пересудов, клеветнической грязи. Обыкновенный смертный вправе иметь свою частную личную жизнь. Короли и принцы лишены этого права. Тысячи недоброжелательных глаз следят за ними, за каждым их шагом. Особенно отличается в этом отношении все левое, социалистическое. Оно только ищет и ждет малейшего предлога, дабы дискредитировать династию, уронив ее в глазах народа.

С точки зрения здравого смысла и самой строгой морали почему бы наследному принцу, свободному, холостому, не увлечься женщиной, которая ему нравится? С точки зрения парламентских болтунов и бездельников, высиживающих свое жалование на левых скамьях, — это преступление, и конечно, перед народом. Эти самозванные опекуны широких масс всегда и во всем имеют наглость выступать от имени народа.

Мекси через своих агентов позаботился, чтобы ужин у Минелли получил самую широкую огласку, именно среди левых парламента

и сената. И хотя все расходы принца ограничились скромным счетом за скромный ужин, однако из темных подполий вышла на улицу отвратительная ложь, что наследный принц тратит на «эту продажную плясунью» народные деньги. Встречаться Язону при таких условиях с Фанарет в Веоле значило бы подливать масла в огонь. К тому же гостить дольше в Дистрии незачем было Медее. Двух гастролей вполне достаточно. Ее увидели те из граждан маленькой столицы, кто вообще ходит на подобные увеселения. Уже третий спектакль не дал бы и половинного сбора.

Медея и Язон решили так: она уедет первая, а через неделю он последует за ней. Съедутся в Неаполе. Язон прибудет в этот город в строжайшем инкогнито, и уже оттуда проберутся они в тихое глухое живописное Позетано, угнездившееся на прибрежных скалах. В Позетано они проведут месяц вдвоем, только вдвоем, отрезанные от всего внешнего мира.

Вдвоем — это еще не значит без Марии. Но что такое Мария? Предмет обихода, неодушевленная вещь. Так, по крайней мере, толковала Медея Язону присутствие своей гор-

ничной. На принца эта костлявая испанка производила отталкивающее впечатление. Мария не оставалась в долгу. Во-первых, любовником ее госпожи был человек, противоречивший ее республиканским убеждениям, а во-вторых, этот человек, имевший громкий титул, имел сравнительно мало денег, чтобы обставить Медею подобающей роскошью. С точки зрения Марии госпожа сделала глупость, — и еще какую, — оттолкнув Мекси.

Испанка была в переписке с ним, с Мекси, ужасным французским языком делая ему чуть ли не ежедневные доклады обо всем, что видела и слышала. Мекси в ответ давал короткие, лаконические, но весьма выразительные директивы. Тем более выразительные, что они подкреплялись довольно кругленькими чеками на неаполитанский «Банко д'Италия». Да и перед ее отъездом из Веолы Церини доставил Марии двести долларов наличными.

Стоило поработать. И горничная, по мере умения и сил, работала.

13. ИНТРИГА ПЛЕТЕТСЯ

Директивы Мекси сводились к одному: путем интриг — плетение этих интриг возлагалось всецело на Марию — посеять рознь между влюбленными, вбить между ними такой клин и так основательно, чтобы его уже никак нельзя было выдернуть. Мария знала характер своей госпожи, знала, как следует играть на нем. Знала также, что Фанарет никогда с ней не расстанется, а посему она, Мария, может говорить в лицо госпоже своей многое такое, чего никто другой не посмел бы сказать.

Но Мария была слишком хитра, дабы злоупотреблять своим привилегированным положением. Открытое выступление против Язона успеха не имело бы. Особенно же в дни медового месяца, в эти дни, когда Медея с таким острым, все и вся забывающим упоением отдавалась своему новому роману, своему новому увлечению.

Декорация и фон их романа были чарующие, словно самим Господом Богом созданные для влюбленных. Эти южные ночи — то

звездные, то бледно-золотистые лунные, лунные до какой-то фантастической зеленоватости, обвевая истомой, будили желание, желание без конца...

И тогда все облекалось в замороженную легенду минувших веков, и не было переходов, и черные тени так же резко сменялись тусклым зеленоватым блеском. Угрюмым силуэтом повисла над бездной громада монастыря, и казалось чудом, как это не рухнул он с головокружительной высоты своей в море. А из моря черным массивом поднимались изъеденные временем башни римской крепости, помнившей цезарей.

Медея и Язон в такие ночи уходили вдоль берега, уходили туда, где никого нет, за город, и где их тени на остывшем песке сплетались в одну. И так же сплетались их тела в объятиях, поцелуях, прикосновениях, то нежных, чуть уловимых, как свежее дыхание сонного моря, то бурных, порывистых, как ураган, как пламя, испепеляющее все и вся. А там, вдали, на лунно-зеркальной глади моря, чернела баркета, и чей-то голос пел о любви, и рокотала, звенела чья-то мандолина.

В такие моменты Язон, в обычное время пленник этикета и своего высокого положения, чувствовал себя вырвавшимся из-под строгой опеки школьником, школьником тридцати четырех лет. Он забывал, что он — наследный принц, что он командует кавалерийской дивизией и что он в спешном порядке испросил у Его Величества короля месячный отпуск. Отпуск, таявший с неуловимой быстротой. Старик отец, кладя резолюцию на прошение об отпуске, молча погрозил сыну пальцем. Это значило:

— Смотри, Язон. Мне известно что-то. Смотри же, не наделай глупостей, за которые пришлось бы краснеть нам обоим...

Фанарет не была хищницей в материальном значении слова. Она не принадлежала к числу тех обольстительных, но прожорливых акул, у которых в натуре, в крови обирать мужчин, разорять их, не стесняясь никакими приемами. Однако непоколебимо было в ней убеждение: тот, кому она дарила свою любовь, должен заботиться о ней и тратить на нее деньги. Язон, не являвшийся исключением, да и не желавший быть таковым, тра-

тил на нее, тратил в пределах своего «цивильного листа». Ему полагалось пятьдесят тысяч франков в месяц. Немного. Даже для такого бедного королевства, как Дистрия, — немного.

Расходы по жизни в Позетано с отелом, пансионом, автомобильными и всякими другими прогулками были ничтожны. Не ограничиваясь этим, Язон съездил в Неаполь к лучшему ювелиру и вернулся оттуда с ниткой жемчуга и браслетом. Довольно крупный изумруд, как жутко мерцающий тигровый глаз, трепетал на тонком золотом ободке.

Хотя оба эти подарка заняли далеко не первое место в коллекции Фанарет — разве Язон мог сравниться с искавшими ее взаимности американскими миллиардерами? — но жемчужная нитка и браслет были встречены и приняты более чем благосклонно.

Совсем по-другому, подчеркнуто по-другому, отнеслась Мария. Укладывая оба подарка в металлическую шкатулку, хранительницу бриллиантов Медеи, горничная презрительно фыркнула:

— Разве это жемчуга? Нитка до пояса, вро-

де той, какую вы получили от Моргана, — это я понимаю...

— Молчи, Мария. Прошу не совать свой длинный нос куда не следует. Эти скромные жемчуга мне дороже всяких моргановских ниток. Я люблю моего принца и взяла бы от него даже стеклянные бусы.

— Не понимаю, — с ядовитой улыбкой повела Мария костлявыми плечами.

— И никогда не поймешь. Никогда. Ты старая дева без пола и возраста.

— Зато у моей сеньоры очень много пола, — съехидничала Мария.

— Да, и я горжусь этим. По крайней мере, будет чем вспомнить молодость.

Часто Мария задавала вопрос:

— Долго мы еще будем сидеть в этой итальянской дыре?

— Пока не надоест. Что будет через месяц, даже неделю — не знаю. Но сегодня мне хорошо, чудно и завтра будет хорошо... Но ведь ты же ничего не понимаешь в этом. Ах, как он меня любит, мой принц! Как он меня любит!

Однажды Мария дерзнула усомниться в этом.

— Вы думаете, сеньора, что Его Высочество вас очень любит? — спросила горничная, вкладывая в его «Его Высочество» всю свою республиканскую ненависть к монархии.

— Думаю ли я? Какая ты глупая, право. И думать не надо. Я это чувствую, чувствую каждой клеточкой мозга, всеми нервами, всем телом, телом, которое он... Да разве ты что-нибудь понимаешь?

— Может быть, и не понимаю, а только...

— Что только? Что, несносная злючка?

— Конечно, в любви я — круглая дура, а только говорить «я тебя люблю» да целовать женщину, если эта женщина красивая, по которой все сходят с ума, это еще не доказательство. Нет, докажи, что ты любишь, докажи...

— Я тебя не понимаю. Каких же ты требуешь доказательств? Бросить перчатку в ров, наполненный львами, и пусть он, мой рыцарь, достанет мне ее, эту перчатку? Ха, ха, ха, — рассмеялась Медея. — Романтические бредни. Нет тех королев, тех рыцарей, есть только одни львы. Да и они загнаны в прозаические клетки. Нет, Мария, у тебя от ненависти к принцу все в голове смешалось.

— И вечно так. Сеньора никогда не даст мне кончить.

— Кончай, кончай, говори...

— Я совсем другое имела в виду. Рвы, львы, перчатки, рыцари — это я сама в первый раз слышу... А вот хотите его испытать?

— Допустим, хочу, — сказала Фанарет уже другим тоном, и внимательнее относясь к Марии.

Мария не сразу ответила. Ей надо было вспомнить последнее письмо Адольфа Мекси, хотя и прочитанное несколько раз, но не вполне усвоенное, ибо там говорилось о вещах, мало доступных ее пониманию. И, увидя, что своими словами сути не передать, костлявая испанка решила идти напролом.

— Вы спросите его, он сам вам объяснит, а только слышала я, что в их доме есть какое-то удивительное кольцо из каких-то жуков.

— Из жуков? — с удивлением переспросила Медея.

— Да. Только не настоящие они, жуки, а из чего-то сделанные.

— Ах, так это скарабеи, египетские скарабеи, — обрадовалась Фанарет. — Я что-то слы-

шала об этом. Еще до Дистрии слышала. Ну, так что же?

— А вот что. Если он так без ума вас любит, пускай поднесет вам этих жуков.

— Странная фантазия. Что это тебе взбрело в голову?

— А почему бы и нет. Иногда и в глупую голову приходят неглупые мысли.

— А ты считаешь свою мысль неглупой?

— Я думаю, что и сеньора того же мнения.

Фанарет задумалась. И чем более думала, тем более приходила к заключению: на этот раз Мария, пожалуй, и права.

Эксцентричность была в натуре избалованной, привыкшей, чтобы все, во всяком случае, почти все, капризы ее исполнялись. Это — с одной стороны. А с другой, она окончательно вспомнила: речь идет именно о том самом редкостном колье из двадцати с чем-то скарабеев, о котором она слышала и в Париже, и Лондоне, и в Мадриде, и которое является собственностью какой-то правящей династии. И вот, не угодно ли, совпадение. Наследный принц этой династии — ее любовник, ее, Медеи Фанарет...

Ее охватило безумное желание овладеть легендарным колье. В этом желании переплелось многое. И тщеславие, и жажда рекламы, — все газеты мира напишут, — и сознание, какую это повлечет зависть, зависть самых модных, самых шикарных женщин, и, наконец, Медея убедится, действительно ли Язон любит ее любовью, готовой на жертвы... К тому же это не Бог ведь какая жертва. Это не перчатка, брошенная в бездну со львами...

Этой же самой ночью во время их обычной прогулки вдоль берега, когда их лунные тени на песке сливались в одну, Медея спросила Язона:

— Дорогой, это правда, что у вас есть фамильная драгоценность? Какое-то замечательное колье из скарабеев? Давно, в Париже еще, говорил инфант Луис. Я только сейчас вспомнила.

— Да. Это колье принадлежало бабке моей, королеве Амелии. Она собирала его звено за звеном в течение тридцати лет. Затем оно перешло к моей покойной матери.

— Значит, теперь оно — ничье?

— Как ничье? Ты сама только что назвала:

фамильная драгоценность.

— А к кому оно перейдет?

— К будущей королеве Дистрии.

— Другими словами, к твоей будущей жене?

— Да, — ясно и просто согласился Язон.

Общая тень на песке разбилась на две тени. Медея Фанарет отодвинулась от «своего принца».

— Что с тобой?

— Ничего... — вздохнула Медея. — Я совсем упустила из виду, что наследник трона должен в конце концов жениться на такой же, как и он сам, «высочайшей особе»...

14. «МЕЖДУ НАМИ ВСЕ КОНЧЕНО»

В эти последние слова Фанарет хотела вложить весь имевшийся у нее запас частью убийственной иронии, частью же «наболевшей горечи». Удалось ли ей это? Вероятно, удалось как артистке, владеющей, если не словом, — восточные танцы — немые танцы, — то мимикой, во всяком случае.

Но тот, кого она так язвительно назвала «высочайшей особой», сделал вид, что не заметил иронической стрелы по своему адресу, молвил с легкой усмешкой:

— Да, наша профессия налагает много обязанностей и обязательств. Одно из таких обязательств — жениться на принцессе крови, если... если не хочешь остаться без короны.

Это спокойствие, пожалуй, даже великолепное спокойствие для пылко влюбленного, обезоружило Медею. Она ожидала, что Язон, полуизвиняясь, полуоправдываясь, вышутит досадное обязательство и постарается лишний раз горячо убедить ее, Фанарет, в своем чувстве. Ради нее, мол, он готов пренебречь дистрийским тронem и уйти в частную

жизнь. Но так как он не сделал этого, она почувствовала себя задетой за живое, едва ли не оскорбленной. Смутная надежда подтолкнула ее на новый иронический выпад. И, чтобы подчеркнуть этот выпад, Медея остановилась, выдерживая паузу. Остановился и Язон.

— А ты? Ты, мой волшебный принц, ты, видимо, тоже не хочешь остаться без короны?

— Хочу ли я, не хочу — это другой вопрос. Но я не вправе от нее отказаться. Ты знаешь, я — единственный сын. Все остальные принцы нашего дома — это уже боковые линии. Откажись я исполнить мой прямой долг, это могло бы вызвать большие потрясения.

— Да, это было бы с твоей стороны величайшей жертвой, — согласилась Медея, вернее, сделала вид, что согласилась.

Протяжный глубокий вздох и:

— Одной разбитой иллюзией больше...

— Медея, неужели ты?..

— Молчи, молчи. Не надо поворачивать кинжал в ране. Зачем? А, вот что, Язон. Я сейчас убедилась, как невелико твое чувство ко мне. Верно, что если ты меня и любишь, то разве немножечко. Не перебивай, дай кон-

читать. Так вот, во имя этого «немножечко», можешь исполнить мой каприз? Женщина без капризов — не женщина. Словом, если б я сказала: мой волшебный принц, подари мне колье из скарабеев. Что б ты мне ответил?

Две-три секунды Язон смотрел на нее:

— Я ответил бы тебе: Медея, ты требуешь невозможного. Каприз твой, к сожалению, неисполним.

— Почему? — резко спросила она, так же резко выпрямляясь, с головой, поднятой с вызовом.

— Люди, честные люди, не могут дарить то, что не принадлежит им. Так и в данном случае. Колье, интересующее тебя, — не моя личная собственность. Еще раз напоминаю твои же слова: «фамильная» собственность, от себя же прибавлю — династическая. Исполнив твое желание, я совершил бы преступление, обесчестил бы свое имя.

— Ах, вот как, — вскипела Медея. — Вот какие слова: преступление, честь? До чего же вы рассудочны, Ваше Высочество. Нет, нет, дайте высказаться. Настоящая любовь не останавливается перед этими громкими сло-

вами. Человек, который действительно любит, может убить, украсть, совершить подлог, пойти на все. Это любовь. Вы скажете — обыкновенный смертный. Нет, нет и нет, возражу я вам. А король Мануэль португальский? Чего-чего только не делал он ради Делли Габи. Она мне сама рассказывала об этом. А он был настоящим королем, а не будущим. И это не помешало ему... О да, вы, конечно, осуждаете Мануэля, не сберегшего чистоту своей белоснежной мантии. Итак, это ваше последнее слово? Мой каприз не будет исполнен?

— Нет, Медея, — твердо ответил принц. — В жертву любви можно принести жизнь свою, но честь никогда... Вы сказали мне: Мануэль. Таких, как Мануэль, я презираю. Да и сама Делли Габи помыкала этим дряблым ничтожеством...

— Довольно, Ваше Высочество... Нам друг друга не переубедить. Мы слишком по-разному с вами смотрим на вещи. Довольно. С этой минуты между нами все кончено. Прощайте.

И здесь, на прибрежном песке, в этом лунном сиянии, затушеванном серебристой дымкой там, где сходились небеса с морем, Медея

Фанарет сделала такой же придворный реверанс, какой пятнадцать дней назад был исполнен ею в столице Дистрии, в закрытой ложе кинематографа. Только тогда этот реверанс дышал весь чуть ли не священным трепетом каким-то, а сейчас, сейчас Медея проделала его с клокочущей злобой, дрожа от бешенства. И кроме того, конечно, с иронией, убийственной иронией.

Круто повернувшись, подобрав и без того короткое платье, Медея ушла в том направлении, где высился над морем отель, их отель.

Некоторое время одна тень оставалась на песке неподвижной, другая же удалялась с почти бегущей скользящей быстротой.

Произошла драма. Пусть маленькая, но все же любовная драма. А там, на море, фантастической птицей чуть колыхалась парусная баркета, и чей-то голос слащаво, но красиво и нежно пел о любви, и рокотали, звенели под чьими-то пальцами струны...

Не слышал принц ни любовной песни этой, ни вторящей ей мандолины. Несколько минут оставался ушедшим в себя, неподвижным, потом, как бы очнувшись, закурил па-

пиросу.

Да, сейчас он уже владел собой вполне. Страсти его, казавшейся такой безумной, к этой женщине как не бывало. Она растаяла вмиг, как растаял в воздухе дымок его папиросы — легкий, призрачный. Эта женщина сама только что убила его страсть и сделала это прямолинейно и грубо. Словно спала завеса, обнажившая всю Фанарет, обнажившая то, чего в своем чувственном угаре он не замечал, вернее, не хотел замечать.

Понатершись, понашлифовавшись в избранном обществе, она внешне усвоила манеры почти светской женщины, но когда переставала следить за собой, просыпалась плебейка низкой и темной породы, как проснулась несколько минут назад...

И мимолетное безразличие сменилось у него чувством, близким к отвращению. Теперь все было неприятно в ней: и крикливая беспокойная восточная красота, и голос, временами звучащий так вульгарно, и запах тела, вначале дразнящий, пьянящий, а теперь вызывавший брезгливое ощущение. Хорошо, хорошо, что все кончилось, именно так кон-

чилось. Он связался с авантюристкой, поверив в ее чувство, и кто знает, до чего довела бы эта связь?

Потребовать от него кольцо?! Эту священную реликвию семьи! Какая наглость!

И вместе с беззвучно произнесенным словом «наглость» Язон резким движением швырнул прочь от себя окурок папиросы. Так же резко вышвырнул из своего сердца образ Медеи Фанарет.

Спокойно и твердо, не спеша, двинулся мимо вытасненных на берег лодок, идя рядом с отпечатанными в сыром влажном песке следами Фанарет.

Завтра же он уедет в Дистрию, не использовав своего отпуска даже наполовину.

Не остывшая, возбужденная вернулась Медея к себе.

Взглянув на нее, Мария повеселела сразу. В глазах Фанарет, в ее лице она прочла все. И разрыв, и погасшие мечты о колье из двадцати трех скарабеев. Испанка молчала, торжествующая, злорадная. Молчала. Пусть заговорит «сама».

И Медея заговорила:

— Ты была права, миллион раз права. Теперь я верю, как никогда, твоей преданности. Он пожалел мне дать эту... эту безделушку. Слышишь, Мария, пожалел!.. Я бросила ему в лицо: «Между нами все кончено». Хотя нет, не кончено. Я ненавижу его, и мы еще сведем счеты, сведем. Я сумею отомстить. А пока давай мне его браслет и эту жалкую нитку жемчуга. Сегодня же, сейчас отошлю ему. Пусть это будет пощечина, пусть...

Поджав тонкие губы, Мария открыла металлическую шкатулку.

— Да, да. Отнеси, Мария. Сейчас же. Хотя, хотя... — призадумалась Медея. — Не надо. Зачем? Это все-таки ценные вещи. Правда, я и не подумаю их надевать, но за них можно получить в Неаполе у того же самого ювелира действительную цену. А сейчас давай перо, чернило, бланк, я посылаю телеграмму.

— Мекси? — подхватила Мария.

— Да, Мекси. Я вызову его в Неаполь. О, мой принц, мы еще с вами посчитаемся... Посчитаемся, — сквозь стиснутые зубы повторила Медея.

15. КАК ЭТО ПРОСТО ДЕЛАЕТСЯ

Вся Европа знала Адольфа Мекси. По крайней мере, по имени. Да и мудрено было не знать. Этот ловкий финансист оплел своими конторами, банками, предприятиями, пожалуй, столько же крупных европейских центров, сколько цветочных корзин отнес он Мелде Фанарет в ее первую гастроль в столице Дистрии.

Миллионы миллионами, предприятия и банки — само собой, но Мекси умел еще и рекламироваться. Умел, как говорят, «подать себя».

Стоило ему очутиться на несколько дней в Риме, в Вене, в Париже, Будапеште, как в самых бойких местных газетах появлялись щедро оплаченные интервью с этим «дистрийским волшебником».

Чего-чего только не наворачивали в этих интервью и сам волшебник, и прищпоренные его деньгами журналисты! То Мекси объявлял чудовищную премию за... трудно даже сказать за что. В уме читателя надолго оставалась круглая с несколькими нулями цифра.

Впечатление было достигнуто, чего же еще? И все остальное в таком же роде. То на средства Мекси снаряжается грандиозная воздушная флотилия — правильное пассажирское сообщение между Старым и Новым Светом, непрерывное, ежедневное. То он приобретает колоссальные участки земли в Южно-Американской Венесуэле, дабы там создать рай на земле. Все это были заманчивые погрешности для толпы — пусть, мол, тешится, глупая, — настоящих же планов и намерений Мекси никогда не публиковал в газетах, весьма оберегая свои коммерческие и финансовые тайны, пока таковые не претворялись в действительность.

Нужно ли говорить, что ему с его капиталом, с его размахом было тесно в Дистрии. По крайней мере, девять десятых его деятельности приходилось на за границу, а не на его отечество, если вообще этот бульдог в пенсне имел отечество.

Адольфа Мекси знали, и даже очень, но никто не знал, кем был его отец. Говорили, что Адольф Мекси — сын грека, а этот грек был сыном морского пирата. Некоторые называли

Мекси левантийцем, некоторые венгерским евреем, но был ли он грек, левантиец, еврей — за это никто не поручился бы в точности.

Но так как люди, подобные Мекси, люди, имеющие свои особняки и в Париже, возле парка Монсо, и в Берлине, на Унтер-ден-Линден, и в Мадриде, на Куэра-дель-Соль, не могут не иметь фамильных портретов, купленных у лучших антикваров, то и Мекси обзавелся и пышной родословной, и не менее пышной галереей своих дедов и прабабок.

За ним охотились как за выгодным — уже чего выгоднее — женихом, но Мекси до поры до времени ускользал от супружеских уз. Не потому, что желал непременно пребывать в холостячестве, а потому, что не спеша высматривал себе что-нибудь особенное.

Друзья говорили ему:

— Адольф, почему вам не породниться с каким-нибудь банкирским домом? Почему? Мало ли: Ротшильды, Мендельсоны, Шиффы, Вабурги, Саесуны...

Мекси отвечал, снимая пенсне, от чего его лицо становилось еще более бульдожьим, и

мигая близорукими маленькими глазками:

— Зачем я буду вводить банкирский дом и в свой салон, и в свою спальню? Для этого я предпочел бы какой-нибудь другой дом, вроде Бурбонского или, пожалуй, Габсбургского...

Да, он так и мечтал жениться на принцессе или на эрцгерцогине. С его деньгами такая роскошь вполне позволительна.

И в ожидании, пока он введет в свою спальню принцессу Бурбонскую или эрцгерцогиню Австрийскую, Адольф Мекси развлекался с женщинами хотя и модными, красивыми, но менее всего титулованными.

Думал развлечься с Фанарет, но обжегся. Язон выхватил ее у него из-под самого носа. Первые двадцать четыре часа дистрийский волшебник бесился ужасно. Рвал и метал. А затем беснование сменилось философским спокойствием. Зачем нервничать? Капельку выдержки — и Медея не уйдет от него. Мекси не ошибся, ставя на капельку «выдержки».

Лучшее доказательство — телеграмма Фанарет, вызывавшая его в Неаполь. Торжествуя победу, Мекси сначала хотел поломаться. Как бы не так: влюбленный мальчишка он

что ли, дабы лететь на первый зов поманившей его красавицы. Надо ее проучить хорошенько. Пусть знает, что на подобные штуки не осмеливалась еще ни одна женщина, которую он, Мекси, осчастливил своим благосклонным вниманием...

Он уже взялся за перо, чтобы набросать ответную телеграмму, полную сарказма, но вспомнил пляшущую Фанарет, вспомнил, как она изгибалась, чуть прикрытая, и губы его стали сухими; облизнув их влажным языком, он вместо саркастической телеграммы послал совсем другую. И одновременно по телеграфу же заказал себе апартаменты в лучшей неаполитанской гостинице «Отель дю Везюв».

Через два дня в этих самых апартаментах, с чарующей панорамой на залив и на дымящий Везувий, Адольф Мекси завтракал с Медеей Фанарет. Вначале говорили о чем угодно, только не о самом главном. Но за шампанским Медея спросила:

— Вы на меня сердитесь?

— За что? — притворился Мекси удивленным.

— Как за что? Он спрашивает еще. Я так вероломно поступила с вами.

— Вероломно, говорите вы? — откидываясь и щурясь сквозь стекла пенсне, переспросил коротконогий, с изрядным животиком «волшебник». — Ничуть, дорогая моя. Во-первых, какая же, готов я спросить, женщина, попробуйте указать, не вероломна? Во-вторых, вы как знаменитая артистка держали фасон, а поэтому в моих глазах не упали, а поднялись. Ну а в-третьих, третьих, — мямлил Мекси, — я мог досадовать, что вы поехали в кабинет с этим Язоном... Досадовать, но не сердиться — ничуть. Молодой человек, интересный, спортсмен. Этот принц имеет у женщин успех, и почему же, моя дорогая, вам быть исключением?

— Между нами все кончено, — вырвалось у Медеи с такой запальчивостью, как если б перед ней сидел не Мекси, а Язон.

— Вечно нет ничего на этом свете. Все когда-нибудь кончается. В особенности же романы, когда люди с первой же встречи бросаются друг другу в объятия.

— А вы почему знаете, что с первой встре-

чи? — задорно погрозила ему Фанарет.

— Я как «Патэ-журнал». Все вижу, все знаю. Знал также, что как только вы заикнетесь об этом сакраментальном колье...

— Так вы знали, Мекси? Знали? Следовательно...

— Медея, наивность вам совсем не к лицу. Но не будем углубляться в это. Побеседуем не о том, что было, а о том, что будет.

Пили кофе с ликерами на балконе. Мекси, расстегнув две пуговицы жилета, благодумствовал, посасывая сигару и ничуть не восхищаясь одним из красивейших на свете пейзажей. С его точки зрения, восхищаться решительно было нечем. В самом деле, море как море, Везувий — на то он и вулкан, чтобы дымился. Пусть туристы приходят в телячий восторг — это им полагается — и от моря, и от Везувия, и от Помпеи, и от Кастеллямаре, и от чего угодно. Ему же, Адольфу Мекси, тратить время на такие пустяки не приходится. Медея, та восхищалась:

— Как дышится. Какая божественная красота. Вот там Сорренто... Эти белеющие на солнце домики...

— Все белое белеет на солнце, дорогая моя, — охладил Мекси эстетический порыв своей собеседницы. — Пейте лучше ликер. Я люблю местный... Этот Стрега, хотя и порядочная дешевка, но в нем что-то есть. Немножко разве напоминает бенедиктин. Но, итак, к делу. Значит, принцу отставка?

— Отставка, но «король мертв, да здравствует король». Нет принца, есть король... Я не знаю, право, каким назвать вас королем? Нефти, железа, чего еще?

— Бросьте, дайте мне лучше вашу руку, — и, притянув к себе по-модному обнаженную руку танцовщицы, Мекси впился губами в место локтевого изгиба. — Моя рука, все мое, все? — спрашивал между поцелуями, и в конце концов спросил, разнеженный:

— Чего бы вы хотели?

— То есть как?.. Я вас не понимаю...

— Разве это не совсем ясно? Чего бы вы хотели? Угодно вам, я сниму для вас на месяц театр в Монте-Карло, к вашим услугам Барселона, Милан. И там, и там выступать очень лестно, даже для такой яркой звезды, как Фанарет.

— Ни Монте-Карло, ни Милан, ни Барселона.

— Нет? Колье из скарабеев?

— Вы угадали, Мекси. Недаром вас зовут волшебником. Хочу колье из скарабеев, хочу, хочу, — капризно повторяла Медея.

— Гм... Это много труднее, чем купить у Гинзбурга на месяц его подмости в Монте-Карло или нанять миланский «La Scala».

— Вот потому-то и хочу и еще потому, что вы все можете. Для вас нет ничего невозможного.

Польщенный Мекси зажмурился, как бульдог, которого пощекотали за ухом.

— Конечно, проще всего было бы купить колье, предложить за него какую угодно сумму, но в том-то и беда, что папаша и сынок не продадут его, хотя в деньгах и нуждаются. У этих величеств и высочеств какие-то особенные мозги, совсем другие, чем у нас. Они помещаны, эти господа, на своей фамильной гордости и на своих фамильных, конечно, священных традициях. Не продадут, — с каким-то укоризненным сожалением вздохнул Мекси.

— Значит, никакой надежды? — спросила Фанарет, слегка надувшись.

— Почему?

— Как почему? Вы же сами сказали: не продадут...

— Сказал и повторяю. Но ведь это один только путь, есть же другие. Например? Извольте. Революция. Во время революции мало ли что может случиться. Нападение на королевский дворец, разгром его и...

— Мекси, вы шутите? — не поверила ушам своим Фанарет.

— Я не люблю шуток, глупых в особенности.

— В таком случае это... Ради колье революция? Ничего не понимаю.

— Поймете. Кто вам сказал — ради колье? И без колье революция должна произойти в Дистрии. А раз так, почему же заодно не сделать вам удовольствие?

— Мекси, я артистка и ничего не смыслю в политике. Но разве, разве революция делается по заказу? Я думала: это стихийное возмущение народных масс...

— Полноте, — махнул рукой Мекси. — Сти-

хийное возмущение народных масс? Оно и видно, что вы ничего не смыслите. Именно все революции всегда и повсюду, моя милая, делались по заказу. А так называемые народные массы — на то они и массы — как стадо баранов, идут за своим вожаком.

— На это нужны деньги? — невольно робея, как скромная ученица перед мудрым учителем, спросила Фанарет.

— Да, каждую революцию кто-нибудь субсидирует. Это необходимое условие.

— Но ведь вам же это будет стоить больших денег? Жалко...

— Ничуть не жалко. На этом деле я зарабатываю еще больше. Умные люди зарабатывают всегда на революциях.

— Как?

— Ну, этого объяснять я не буду. Все равно ваша прелестная головка не вместит и не поймет сложных финансовых комбинаций.

— Вот как? — притихнув, задумалась Фанарет.

Человек, только что плотоядно целовавший место у локтевого изгиба, этот человек с бульдожьим лицом испугал ее. Еще бы не ис-

пугать! Он с таким уверенным спокойствием обещает сделать революцию, как если бы планировал завтрашнюю поездку в Байи, где Нерон проводил часть лета...

Она так и сказала:

— Я начинаю вас бояться.

Он снисходительно улыбнулся, как улыбаются изумлению ребенка перед самым обыкновенным, самым понятным...

— Не бойтесь. Это гораздо проще, чем кажется. Впрочем, убедитесь сами...

16. БИОГРАФИЯ АРОНА ЦЕРА

Но как ни убеждал Мекси танцовщицу, что сделать революцию вовсе не так трудно и что вовсе это не такая мудреная вещь, она ему не верила. Никак не могла поверить. Он ее дурачит, смеется над нею, как над девчонкой, что-то скрывает и чего-то недоговаривает.

А между тем с ней он в данный момент был таким, каким вообще редко бывал с людьми. Договаривал все до конца, разве, пожалуй, смеялся, вернее, глумился над презренным человеческим стадом, которое сле-

дует за своим вожаком, сулящим ему все блага, радости, наслаждения и богатства.

И разве не был прав, тысячу раз прав Мекси: революцию всегда кто-нибудь субсидирует. И этот «кто-нибудь» обыкновенно очень крупный капиталист, поднимающий за собой «массы» магическим лозунгом «борьба с капитализмом».

Фанарет урывками читала кое-что о революциях, но весь этот лживый революционный пафос так мало похож на то, что сейчас услышала она от Мекси. И хотя он не рассеял вполне ее недоверия, однако этот кейфовавший с сигарой в зубах коротконогий банкир как-то стихийно вырос в ее глазах, вырос до титанических размеров. Да, он может, все может... Страшные миллионы. Страшная его власть...

И сама изумившись, почувствовала Медея, что могла бы влюбиться в этого почти безобразного, неуклюжего, тучного банкира, как влюбляется баядера в таинственное и свирепое божество с несколькими грудями, головами и руками...

Словно под тяжелым прессом находилось

ее вспугнутое воображение. И вместе с тем, как в этом «спрессованном» воображении Мекси выросстал в гранитного колосса, высотой с Везувий, вместе с этим тускнел как-то и мерк престиж тех, которые чуть ли не с пеленок уже носят короны и мантии. После того, что сказал Мекси, эти блеск и величие столь же хрупки, сколь и призрачны. Этот примчавшийся из Дистрии за ее ласками, за ее телом прозаический, в прозаическом пиджаке человек одним движением руки бросит в тлеющий костер несколько миллионов. Костер вспыхнет, и в его пламени погибнут и короны, и мантии, и дворцы, и даже те, кто носит эти короны и мантии и живет во дворцах.

И еще все как-то не веря и желая себя убедить, услышать ответ, она после долгой паузы спросила отяжелевшего, размякшего после завтрака, вина и ликеров Мекси:

— Так вы это... наверное сделаете?

Мекси, пошевеливнувшись, приподнял веки.

— Сделаю. Сказано ведь. Я никогда не повторяю одного и того же.

— И... и колье?

— Ваше. Почти не сомневаюсь.

— И что же будет тогда с ним, с принцем? Он уже не будет принцем?

— Одно из двух: или его уничтожат, или он будет принцем в изгнании. Без средств, без почета и власти, без красивого мундира, без всего того внешнего блеска, утратив который, они превращаются в обыкновенных, почти обыкновенных эмигрантов.

— Да, да, это все верно. Я хочу, чтобы он жил. Я хочу насладиться его падением. О, как я его ненавижу. Мекси, если вы это сделаете, тогда... тогда...

— Что тогда?

— Я вас буду так любить, так любить! Увидите сами.

— Я живу не будущим, а настоящим. Кстати, Медея, вы не находите, что здесь, на балконе, прохладно? — и он посмотрел на нее тяжелым, приказывающим взглядом, и она поняла...

— Да, здесь немного свежо. Мы перекочем в ваш уютный салончик, потребуем горячего кофе, и чтобы никто, никто не смел нас беспокоить... Да, да, мой дистрийский волшебник?

Обжегши его многообещающим взглядом, Фанарет, словно изнемогая от истомы, сделала одно из тех движений, которые сводили мужчин с ума в ее танцах...

— Мы будем вдвоем, только вдвоем, да? Ах, эта итальянская прислуга так мало дисциплинирована. На нее нельзя полагаться...

— Я и не полагаюсь. Моя верная собака Церини...

— Как, и он здесь? Этот смешной субъект, одевающийся не по-модному?

— Сиреневый цвет — его слабость, — улыбнулся Мекси. — Он получил соответствующие инструкции и уже, как цербер, занял прочную позицию у моих апартаментов.

Не лишнее вкратце познакомиться с биографией этого «цербера», действительно уже шагавшего по коридору взад и вперед мимо ведущих в апартаменты его патрона дверей. И, как всегда, этот человек со шрамом был в светло-сиреневой визитке и в светло-сиреновом цилиндре. Перчатки, тяжелая трость, бриллиант в галстуке, бриллиант на мизинце.

Ансельмо Церини — это псевдоним, псев-

доним, однако, увековеченный в паспорте.

Настоящее же его имя и фамилия — Арон Цер. Мещанин Подольской губернии Арон Цер.

Он родился и вырос в благочестивой еврейской семье часового мастера в Виннице. В самом деле, это была патриархальная семья. Отец, вооружив правый глаз лупой, по целым дням ковырял железными щипчиками в часовом механизме и хотел, чтобы старший сын, Арон, шел по его стопам. Но Арон не хотел следовать по стопам отца. Ему хотелось — явление редкое в еврейских семьях — бездельничать.

Он обзавелся колодой карт, засаленных, обмызганных, и на стертые медяки обыгрывал мальчишек, и своих, еврейских, и христианских.

С превеликим трудом окончив двухклассное городское училище, Арон Цер занялся мелким комиссионерством.

Подоспело время отбывания воинской повинности. В течение месяца Арон героически изо дня в день принимал касторку. Он так похудел и ослабел, что когда разделся в воин-

ском присутствии, врачи забраковали его.

Какое счастье! Арон не будет солдатом. Арон будет бездельничать, как бездельничал до сих пор. Бездельничал он и в двухклассном училище. Мало этого. Он и вел себя отвратительно, и за поведение ему ставили «тройку».

Это приводило в отчаяние почтенных родителей, в особенности — родительницу.

Мать, укоризненно качая головой в парике и в чепце, всматриваясь подслеповатыми глазами в тетрадь с отметками и замечая, что в графе поведения стоит жирная цифра 3, умоляла сына:

— Арон, учи поведение... Что ты себе думаешь? Учи поведение.

Арон, обещая учить поведение, выманивал у родительницы своей серебряную мелочь.

Счастливо избавившись от солдатчины, Арон Цер пустился в широкое плавание. В тихой Виннице ему нечего было делать. Кроме того, Арона хорошо знали в тихой Виннице.

Он принялся колесить по всему Юго-Западному краю, сделавшись профессиональным игроком. Зимой он играл в придорожных корчмах, в номерах для приезжающих, а ле-

том кочевал с ярмарки на ярмарку. Особенно тянуло его на ярмарки, куда устремлялись за ремонтом офицеры кавалерийских полков. Где только не играл Арон Цер! И в Меденбоже, и в Ярмолинцах, и в Проскурове, и в Литине, Новгород-Волынске, Старо-Константиновске.

В течение двух-трех лет Арон Цер имел успех. Он редко знал, что такое проигрыш. Его бумажник раздувался от денег. Одевал его лучший житомирский портной Климович, бывший Окенчиц. Бриллиантовые перстни засверкали на его коротких пальцах.

На душе Арона было два самоубийства. Два ремонтера покончили с собой, проиграв ему казенные суммы. Третий же ремонтер, штаб-ротмистр Ахтырского гусарского полка, отомстил и за себя, и за тех, которые уже не могли отомстить.

Поймав Арона на плутовстве, горячий штаб-ротмистр хватил его по лицу тяжелым медным подсвечником. Арон замертво упал под стол, а его жилет из белого сделался красным. Три месяца отлеживался Арон. Глубокий шрам остался на всю жизнь. С этим шра-

мом уже нельзя было показываться на ярмарках в Меденбоже, Литине и Ярмолинцах. Арон получил отвращение к картам. Его тошнило при одном виде зеленого стола. Но разве только одними картами живет человек? Да еще умный, предприимчивый, ловкий...

Арон вынырнул в Одессе. Там он сделался агентом по весьма выгодной торговле живым товаром. Он вывозил обманутых девушек в Константинополь, Смирну, Салоники, Бейрут, Александрию, Порт-Саид. За время частых рейсов Арон научился болтать по-турецки, а через год говорил по-французски, как левантинец.

В Константинополе судьба случайно свела его с Мекси. Дистрийскому волшебнику понравился этот бандит со шрамом, с темным прошлым и не менее темным настоящим.

Мекси не был брезглив. Человек, выросший на Востоке и полувосточного происхождения сам, он знал: если пригреть умеючи Арона, он будет ему верной, преданной собакой.

Одно только не нравилось Адольфу Мекси: Арон Цер. Личным секретарем Адольфа Мек-

си не может быть человек, называющийся Ароном Цером. Это вульгарно звучит. И Мекси переделал Арона Цера в Ансельмо Церини, левантинца, подданного Оттоманской империи. Паспорт обошелся в какую-нибудь сотню турецких лир.

17. МЕКСИ «НАЖАЛ КНОПКУ»

Еще за несколько месяцев до своей беседы с Медеей Фанарет, знаменательной беседы на балконе неаполитанского отеля, подумывал Мекси о революции в королевстве, коего считался гражданином, официально, по крайней мере, в паспортной книжке.

Да и не только подумывал, а вел к ней страну, делая все, что только делается в таких случаях.

Зачем нужна была Адольфу Мекси революция в Дистрии? Во-первых, он желал «заработать на ней», как мы знаем с его же слов. Но это желание заработать было на втором плане. Мекси в любой день и час зарабатывал очень много, если и не в любой точке земного шара, то во всяком случае, Европы.

Нет, корыстные соображения только вто-

ростепенную роль играли. На первом же плане было падение монархии в стране, где на протяжении тысячи лет правили венценосцы.

Адольф Мекси, мечтавший жениться на какой-нибудь принцессе Бурбонской или эрцгерцогине Габсбургской, сам как таковой, был республиканцем, подобно Марии, горничной танцовщицы Фанарет. Но Мария была республиканкой по злобной и тупой глупости. Что же касается Мекси, ему республика была выгоднее.

Еще не так давно Мекси хлопотал о двух очень выгодных концессиях. Выгодных для него, Мекси, и невыгодных для Дистрии. Все уже было подготовлено, всем, кому следует, даны были взятки, оставалось одно: королевская подпись. Но король, убедившись, сколь убыточны будут для Дистрии эти концессии, отказался скрепить их своей подписью, и банкир, готовившийся ограбить страну, сам почувствовал себя ограбленным. И тогда же в принципе решена была им революция в Дистрии...

Последней каплей, переполнившей чашу,

был ужин за круглым столом, где должна была плясать Фанарет. Мекси, не желая быть смешным, лгал Медее, говоря, что нашел вполне естественным, что она ужинала не с ним, Адольфом Мекси, а с наследным принцем Дистрии. На самом деле он возненавидел своего соперника, и, когда мрачно пил в кругу своих притихших гостей, судьба принца была уже обречена... Весело проведя несколько дней с Фанарет в Неаполе и условившись встретиться вскоре с ней в Монте-Карло, «дистрийский волшебник» возвратился в Веолу и объявил «мобилизацию» по всему фронту.

Он с удовольствием убедился, что коммунистическая агитация в армии, агитация, обошедшая ему в несколько миллионов, сделала свое дело, за исключением двух-трех гвардейских полков, вся остальная солдатская масса разложена была основательнейшим образом. Часть «сознательных» рабочих и вся столичная чернь, тайно снабженные винтовками, револьверами и даже пулеметами, готовы были выступить по первому сигналу. Левое крыло парламента, целиком находившееся на жалованье у Мекси, требовало

«свержения тиранов»...

Все, решительно все, даже самый воздух были насыщены революцией...

Адольфу Мекси оставалось «нажать кнопку», чтобы последовал взрыв. Но Мекси не спешил с нажатием кнопки.

Один генерал, давно продавшийся ему и находившийся в его штабе, дал «технический» совет своему господину:

— Надо повременить. Пока наследный принц здесь, я не рекомендовал бы затевать революцию. Язон смел, энергичен, пользуется обаянием в гвардии и в офицерском корпусе. Этот человек с горстью преданных ему бойцов раздавит авантюру и жестоко расправится с бунтовщиками.

— В таком случае, как же быть? Я не могу и не хочу ждать, — топнув ногой, воскликнул Мекси, привыкший к беспрекословному и безотлагательному исполнению своих желаний.

— Надо вооружиться терпением. Ненадолго, впрочем, — поспешил добавить превосходительный ренегат, которому Мекси обещал за содействие великие и богатые милости.

— А именно?

— Вопрос дней десяти, быть может, двух недель. Уже решено... Язон вместе с премьер-министром уезжает на днях в Сербию для заключения какого-то очень важного договора. Заключать договор будет премьер-министр, а Язон будет гостем сербского короля. Через сорок восемь часов после отъезда можете начинать. Язон уже не успеет вернуться. Конечно, переворот должен произойти с молниеносной быстротой. Главное, ударить по столице, а там уже все рухнет...

— Вы уверены в этом?

— В чем?

— В том, что Язон будет гостем сербского короля?

Генерал улыбнулся отчасти снисходительно, отчасти подобострастно. Первое, потому что он был близок к придворным сферам и знал хорошо их кулисы, второе, потому что Мекси был архимиллионером, и генерал уже успел вкусить от его миллионов и собирался «вкусить» еще больше.

— Я же вам сказал. Вопрос решенный, а завтра скажу вам точно день и час отъезда. Я

видел собственными глазами церемониал встречи в Белграде, выработанный министерством Двора при участии сербского посланника. Могу даже сообщить такую деталь. Обычно в таких путешествиях наследного принца сопровождает полковник князь Маврос. На этот же раз едет генерал-адъютант Пирапидо, а полковник Маврос остается. Затем в Белграде высочайший поезд встречен будет кузеном короля, принцем Павлом. Вместе с ним Язон в открытой коляске последует во дворец, сзади и спереди коляски на рысях — королевский конвой. Так вообще принято... — генерал хотел еще что-то прибавить, видимо, сам увлекаясь «церемониалом», но Мекси движением руки остановил его.

— Эти подробности нисколько не интересны. Какое мне дело, кто и как будет встречать Язона? Мне важно, чтобы он поскорее убрался отсюда.

— Повторяю, не позже как завтра узнаете день и час отъезда.

Через две недели после этой беседы и через двое суток после отбытия престолонаследника в Сербию, Мекси нажал кнопку, и свер-

шилось то, что было написано в книге судеб, а следовательно, не могло не свершиться...

18. ГОНЕЦ

Чем ближе надвигались события, тем больше нервничала Медея. А что они надвигаются, это она знала из телеграмм Адольфа Мекси, конечно, условных. Самый невинный текст указывал близость переворота. А когда он приблизился уже вплотную, Медея не могла усидеть в Монте-Карло и, поставив Мекси в известность об этом, примчалась на самую границу Дистрии. Там, в глухой деревне, в обществе своей неразлучной Марии, с нетерпением ожидала Фанарет гонца Мекси. Этим гонцом будет Ансельмо Церини. Он доставит желанное кольцо.

Последнюю ночь, ту самую, которая была ночью переворота, Медея не могла сомкнуть глаз. Наконец-то пробил час мести, двойной мести. Гордый принц будет унижен, разорен, превращен в бездомного скитальца, а его фамильным сокровищем овладеет она, Фанарет.

Еще не было гонца, а в глухой пограничной деревне знали о событиях, происшедших

в Веоле. Держава, примыкающая к Дистрии, двинула на всякий случай к границе войска, и через деревню, где на грязном постоялом дворе Фанарет сняла две комнаты, проходили отряды кавалерии, пехоты, громыхали пушки.

Создалось приподнятое настроение с ожиданием чего-то. Фанарет, охваченная этим настроением, еще больше волновалась, нервничала и капризами своими отравляла своей Марии существование. Оттуда же, с той стороны, долетали отрывистые и, как всегда, разноречивые новости.

То король убит, растерзан ворвавшейся во дворец чернью, то он успел убежать, и вслед за этим: король и не убежал, и не растерзан, и не пропал без вести, а какова его судьба, никто не знает.

В таком же духе и относительно мятежа. По одним сведениям, революция подавлена войсками, исполнившими свой долг, по другим — войска не исполнили своего долга, и уже монархия пала, и во дворце заседает новое республиканское правительство. Последнее было ближе к истине.

Узнав в Белграде, что в Веоле произошли какие-то чрезвычайные события, Язон по-мчался на границу в автомобиле со своим генерал-адъютантом. Медея видела принца и генерала Пирапидо из своей комнаты. Видела, как офицер соседней страны, почтительно вытянувшись, докладывал что-то сидевшему в запыленном автомобиле наследному принцу Дистрии. Внешне принц был спокоен. Но какую драму переживал он в душе, оторванный от своей родины, от своего отца, о судьбе которого ничего не знал, от своей армии, по слухам, так постыдно изменившей присяге? Но если принц, человек сильной воли, был непроницаем и тверд, генерал Пирапидо плакал, громко всхлипывая и вытирая платком лицо, мокрое от слез.

Этот момент, исторический момент, наблюдала Фанарет, сама стараясь не быть замеченной. Ей даже казалось, что принц,глянув в окно, увидел ее и узнал.

А через каких-нибудь полчаса в дверь ее комнаты раздался нетерпеливый стук и вошел Арон Цер. Он был неузнаваем — ни сиреневой визитки, ни светло-сиреневого цилиндра.

дра. Куда девалось это великолепие? Дорожный английский балахон, мягкая автомобильная каскетка. Черная борода и усы были серыми от густого слоя пыли. Он схватил графин и, не отрываясь, долгопил воду прямо из горлышка.

Утолив жажду, шлепнулся в изнеможении на стул. И только через минуту овладел способностью речи. Его первые слова были бессвязны, наполовину это были ругательства:

— О, черт бы побрал эту дорогу. Будь она трижды проклята. Эти скоты едва не задержали меня.

Кто они были, эти «скоты», Цер так и не пояснил. А Медея торопила его:

— Говорите же, говорите.

— Что я вам скажу? Ой, как я устал. Эти восемьдесят километров, это же какая-то испанская инквизиция. Это еще хуже — честное слово. Нет, если Мекси пошлет меня в другой раз, я ему скажу: «Убейте меня лучше, а только я не поеду». Так и скажу. Нет, клянусь вам, это была скверная штука.

— Да замолчите вы, несносный болтун, — оборвала с искаженным лицом, чуть не зама-

живаясь на него, Фанарет. — Я спрашиваю о деле, о самом главном, а вы несете какую-то чушь. Как революция? Удалась?

— Ой, еще как удалась, — оживился Церини. — Мы их смели, понимаете, смели. Их была горсточка, хотя нет, не горсточка. Но мы дрались, как львы, как целое стадо львов. Если хотите, даже еще лучше. Эта старая развалина, этот король несчастный, окошел с перепугу. Да, да, испугался и умер. Уже новое правительство. Оно было в жилетном кармане у Мекси. Я сам вел во дворец толпу рабочих, и я первый...

— Колье, давайте колье, — требовала Медея, надвигаясь на него со стиснутыми зубами и гневным лицом.

Арон съежился, вытягивая руки, словно умоляя о пощаде.

— Колье? Вы хотите непременно колье?

— А вы хотите, чтобы мое терпение лопнуло? Не прикидывайтесь дурачком, давайте.

— Что я вам могу дать, когда я сам ничего не имею.

— Церини...

Страшен был вид Фанарет с прикушенной

нижней губой. Арон Цер весь съежился.

— Я не виноват, честное слово, не виноват. Мекси тоже не виноват. Судьба сыграла с нами нехорошую шутку, злую шутку. Мы все переискали, все перерыли, не оказалось этого колье. Кто-то успел похитить. Такое несчастье, такое несчастье. Мекси как узнал, ой, что это был за ужас. Я его никогда не видел таким. Он мне дал маленькую пощечину, а что, я виноват, если какой-то мерзавец, негодяй, подлец предупредил нас?

В убийственном французском языке Цера чувствовался недавний разъезжавший по ярмаркам Юго-Западного края шулер. И этим убийственным французским языком Ансельмо Церини разбил все надежды Фанарет.

Арон Цер ожидал, что эта горячая женщина избьет его, и он приготовился. Только бы защитить голову, лицо и глаза, остальное все пустяки. Но бешенство Медеи приняло другие, менее буйные формы. Оно затаилось, вглубь ушло.

Казалось, она тотчас же позабыла о самом существовании Арона. Села на узкую железную кровать, изогнувшись, подперев лицо ру-

ками, устремив взгляд в одну точку, застыла, замерла. Только вздрагивал подбородок, и по временам конвульсивная дрожь пробегала по ее чертам.

Ансельмо Церини убеждался: гроза миновала. А когда он окончательно убедился в этом, он уже независимо развалился на стуле, забросив ногу на ногу. Молчание давило его, хотелось болтать, и он разболтался, украдкой поглядывая на Фанарет.

— Черт знает что... Я до таких авантюр не охотник. Самая паршивая вещь была уже у самой границы. Могли схватить, пуля в лоб и... до свидания, Ансельмо Церини. На мое счастье, я проскользнул. В другой раз так и скажу ему: «Бей, но не посылай». Это сказал какой-то замечательный человек, только он иначе сказал: «Бей, но выслушай». Но это разве не все ли равно? А сейчас? Что я буду делать сейчас? Надо снять в этой грязной дыре комнату, хорошенько вымыться, а потом хорошенько поесть. Я голоден, как собака, как две собаки, и даже как десять собак. А знаете, что я вам скажу, глубокоуважаемая Фанарет? Не надо особенно грустить. Зачем вы будете

себе портить кровь? Мы с Мекси достанем вам новое... Что такое?.. Но я уже молчу, молчу. Я буду молчать...

Фанарет медленно встала, медленно шагнула к нему и тихим голосом сказала:

— Убирайтесь вон из моей комнаты. Вон. Сию же минуту.

— Ухожу, честное слово, ухожу. Меня уже нет, я уже ушел, — и он поспешно скрылся за дверью и, уже очутившись в коридоре, звал громко:

— Мадам, ла патрон у ет ву? Же вует ун шамбр [5].

К вечеру Медея вместе с Марией уехала. Уехала назад, в Монте-Карло, где остался весь ее багаж, так как в пограничную деревушку примчалась она совсем налегке.

19. МЕКСИ НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДЫ

В течение нескольких дней Адольфу Мекси было не до Фанарет. Сидя в своем палаццо, оставаясь в тени, за кулисами, он создавал новую республиканскую власть. Все назначения исходили от него и через него. В президенты он поставил адвоката Паго. Этот Паго был в течение многих лет юрисконсультантом банкирского дома Адольфа Мекси. Своего человека также сделал дистрийский волшебник премьер-министром. И все остальные назначения в таком же духе. Вот когда этот бульдог в пенсне вкусил, наконец, настоящей власти! Власти, в обычное, нормальное время недоступной частному человеку, даже с его миллионами.

Мекси решил: «завоеваний революции» довольно. Необходимо поставить точку. Большевизма не допустить ни под каким видом, по крайней мере, до тех пор, пока он, Мекси, намерен эксплуатировать местные природные богатства в свою пользу.

Если б Мекси не принял энергичных мер, маятник, качнувшись влево, по инерции от-

качнулся бы еще левее. Коммунисты частью были арестованы, частью были высланы, частью же расстреляны. Так же расправился Мекси и с монархистами, преданными династии и не успевшими бежать за границу.

Переворот со всеми вытекающими из него последствиями почти удвоил колоссальное состояние Мекси. И когда он подсчитал затраченные на революцию миллионы, они оказались мелочью, безделицей по сравнению с тем, что ему удалось нажить в несколько дней. Наладив все, покончив с делами, он сказал себе:

— А теперь можно подумать и об удовольствии.

И он укатил в Монте-Карло. Он чувствовал: первая встреча с Медеей не будет для него милостивой. И не ошибся. Она едва-едва его приняла.

— Так-то вы сдержали свое обещание?

— Что делать, дорогая моя! Неудача. Надеюсь, временная. Колье не уйдет от нас.

— Не верю, не верю, не верю.

— Напрасно, человеку, сделавшему революцию и так гладко сделавшему, нельзя не

верить.

— За это я готова преклониться перед вами, — за революцию, — молвила Фанарет, смягчаясь. — Но погодите радоваться. Это еще не все. Победителей не судят, скажете вы? Но я другого мнения. Победа неполная перестает быть победой. Я очень благодарна вам, что теперь Язон будет скитаться по Европе, я чувствую себя отомщенной, да, но не совсем.

— Медея, вы можете выслушать меня спокойно? Можете?

— Могу, — далеко не спокойно ответила Фанарет.

— Слушайте же. Сомневаться в том, что я хочу сделать вас единственной в мире обладательницей единственного в мире колье из скарабеев, сомневаться в этом, дорогая Медея, вы не можете ни на один миг. Не так ли?

— Допустим, так. Дальше? — с неохотой и все еще недоверчиво ответила Фанарет.

Мекси, улыбнувшись с каким-то ленивым лукавством бульдожьим лицом своим и поправив на мягко-мясистой переносице пенсне, продолжал:

— Не могу расписаться в первой неудаче,

первой, это слово подчеркиваю. Моих агентов предупредили, но теперь я знаю, кто предупредил.

— Кто же это?

— Князь Маврос. Я до сих пор не могу объяснить, как ему повезло с двумя вещами. Первая — это выкрасть кольцо с несколькими незначительными драгоценностями, вторая — убежать и проскочить через границу. И то, и другое — почти установленные факты.

— Вот видите.

— Что? Я пока ничего не вижу.

— Как ничего? Маврос, ограбив меня, ограбил своего принца. Он это кольцо продаст где-нибудь в Америке, и... вы качаете головой? Почему и зачем?

— Затем и потому, милая моя Медея, что вы совсем не знаете Мавроса. Князь Маврос безгранично предан Язону и скорее готов нищенствовать, голодать, чем использовать для себя хотя бы один скарабей.

— В таком случае, зачем же он это сделал? — недоумевала Фанарет.

— Затем, чтобы, встретившись с Язоном, верноподданнически ему сказать «Ваше Ве-

личество»...

— Почему Величество, а не Высочество? — перебил Фанарет.

— Потому что в глазах таких господ Язон, хотя и в изгнании, после смерти своего отца является для них законным государем. Итак, он скажет: «Ваше Величество, Господь мне помог — они уверены, что Господь помогает во всем — спасти колье и еще кое-что». Понимаете, взрослый ребенок? Дальнейшее объяснений не требует.

— Вот видите, вы сами против себя говорите, — накинулась Фанарет. — Раз принц получит колье, оно умрет для меня. Это ясно, ясно, как день, — повторила Медея и еще ножкой притопнула.

— Ничуть не ясно. Нисколько, — не сдавал и пяди своих позиций невозмутимый Мекси. — Вы не учитываете условий, в каких очутился Язон, упавший с облаков на землю. Материальное положение весьма незавидное. В европейских банках у него если даже и есть что-нибудь на текущем счету, разве только суцая безделица. Много-много если на полгода самого скромного существования. Перспек-

тив же никаких. Это поубавит его династическую гордость, и я думаю, бывшее высочество охотно расстанется со своей фамильной реликвией, дабы получить взамен кругленький куш. И тогда-то мы приобретем у него кольцо через подставленных лиц.

— А если он и тогда не захочет? Необходимо и это предвидеть.

— Резонно. Не имею ничего возразить. Да, все необходимо предвидеть. Я уже подумал об этом. Если он заартачится и будет упрям, как осел, мы постараемся у него это кольцо выкрасть. Мое слово порукой вам, что я готов на это дело ассигновать столько же, сколько заплатил бы самому Язону за все его двадцать три скарабея. Ну что, успокоились ли вы наконец? Согласны ли вы терпеливо ждать?

— Почти успокоилась и готова, готова терпеливо ждать.

— Ух, — тяжело вздохнул Мекси. — Вас гораздо труднее привести к послушанию и покорности, чем сделать королевство республикой. Обещаю вам торжественно и клятвенно, — Мекси поднял руку, — мы будем следить за каждым шагом Язона, отыщем его хо-

тя бы на дне морском и своего добьемся. Несколько месяцев я посвящу вам, исключительно вам. Врачи настаивают на моем долговременном отпуске, находят, что я заработался, и мне, вернее, моему сердцу нужен длительный отдых. А так как я без борьбы не могу жить, не могу, то эта погоня за колье и его обладателем будет весьма кстати. Я лишил его престола, лишил всего, но это еще не значит, что мы оставим его в покое. Мечь наша не кончилась, а только начинается. Мы заставим его испытать до дна чашу таких унижений, таких...

Договорить Мекси не успел. С ловкостью акробатки-танцовщицы Фанарет одним прыжком очутилась у него на коленях и обнаженными руками охватила его шею.

— Я люблю тебя, слышишь? Я никого, никого так не любила, — и, зажмурившись, Фанарет потянулась полураскрытыми губами к его чувственным мягким губам.

20. ТРАГЕДИЯ ПРИНЦА

Мекси сдержал свою Аннибалову клятву. Этот человек — владелец колоссальных предприятий и операций, этот человек, нажимом кнопки свергнувший тысячелетнюю династию, с каким-то юношеским задором увлекся охотой за колье из скарабеев и за тем, кому оно принадлежало. Слов нет, вызвано это было другим, более серьезным — серьезным увлечением танцовщицей.

С легкой перифразировкой он мог бы повторить то же самое, что сказала Фанарет, вспрыгнув к нему на колени.

Была ли это любовь? Почем знать? Но, во всяком случае, до сих пор ни одна женщина не овладевала им чувственно в такой степени, как овладела Фанарет, и во имя этой покоряющей чувственности он готов был исполнять все ее малейшие желания и капризы.

Их роман сделался самым популярным за несколько последних десятилетий. О любовных шалостях бельгийского короля Леопольда, о романе португальского Мануэля с Делли Габи, об увлечении Ротшильда танцовщицей

Наташей Турхановой — обо всем этом в свое время говорили гораздо меньше, чем о сплетении имен Фанарет и Мекси. Никто из дам света и полусвета не мог соперничать с Медеей ни роскошными виллами, ни выездами, ни бриллиантами, мехами, туалетами. Не считая, бросал Мекси на свою любовницу миллионы, десятки миллионов: ограбив Дистрию, он добровольно позволял грабить себя этой хищнице, не знавшей удержу своему с каждым днем разраставшемуся аппетиту. Для морских прогулок была приобретена яхта с роскошным убранством, названная «Медеей», для воздушных путешествий был заказан аэроплан с миниатюрным салончиком, столовой, спальней и кухней. И Фанарет летала из Ниццы в Париж, из Парижа в Биарриц, из Биаррица в Мадрид и Севилью.

Как никогда, засыпали ее ангажементом. Как никогда, страницы журналов и газет испещрены были ее портретами.

Но это волшебное, никогда не снившееся существование, развлекая Фанарет, не давало ей полного удовлетворения. Она охотно уступила бы и свою чудо-яхту, и свой чудо-аэро-

план, и все свои бриллианты за кольцо из скарабеев. Но это кольцо, точно заколдованное, как бы насмехаясь над Фанарет, ускользало. Проходили месяца, а оно ускользало...

Целую свору своих агентов, с Ансельмо Церини во главе, бросил Мекси по следам принца Язона и князя Мавроса. Но в том-то и дело — и это осложняло поиск — что, в сущности, следов никаких не было, и приходилось действовать наугад, ощупью, полагаясь на то, что мир тесен, во-первых, и что, во-вторых, бывший наследный принц Дистрии и бывший адъютант его, потомок владетельных князей, не могут же, в конце концов, скрыться бесследно.

Мы уже знаем: принц Язон после разразившейся над его отечеством катастрофы, не находя себе места, кочевал из города в город, из страны в страну, желая уйти от самого себя, от страшных призраков, неотступно бегущих за ним...

На его месте другой, более слабый духом и волей, пожалуй, навсегда растерялся бы. В самом деле, трудно даже представить более тяжелой, более сокрушающую человека встряс-

ку. В один день лишиться всего: своей родины, исключительно высокого положения, средств к жизни, почета, — и лишиться тогда, когда человек уже вполне возмужал и успели определиться характер, взгляды, привычки, вкусы.

А главное, сознание чудовищной несправедливости, ниспосланной судьбой. За что? Разве отец его был плохим государем? Разве народ не был счастлив под управлением своего монарха, и за 45 лет своего царствования этот монарх не превратил маленькое, бедное княжество в цветущее, удвоив территорию и создав королевство? На смену явился переворот. Что же он дал народу, не народу в кавычках, а всему населению, честному, трудящемуся, так же не в кавычках, а по-настоящему? Ничего, кроме нищеты, горя и слез.

Обогатился Мекси, обогатилась банда его приверженцев. Но разве для этого нужна была революция?

Несколько раз принцем овладевало безумное желание проникнуть в республиканскую Дистрию и лично увидеть не по газетам и рассказам, а собственными глазами, что и как

там теперь.

И несколько раз он тайком пробирался к самой границе и смотрел туда, где лежал дорогой ему край, край, частицей которого он был сам, лишенный трона, скитающийся принц.

Он видел пышные равнины, бегущие к подножию гор, видел эти самые горы, нежно-синеющие, и тоска тяжелым камнем давила грудь, и туман слез мутной сеткой застилал зрение.

Рискуя жизнью — его могли застрелить пограничники и той и другой стороны — Язон пробирался сквозь лесные чащи, среди болот, и сквозь густой хаос кустарников, чтобы почувствовать под ногами хотя бы одну пядь родной дистрийской земли. Затаившись, он видел темные контуры новых республиканских пограничников, слышал их глухо, по-ночному звучащую речь, видел движущиеся огоньки их трубок и папирос. И нечеловеческих усилий стоило ему подавить в себе желание выйти, открыться этим людям и говорить, говорить с ними страстно, бессвязно, до боли искренно...

Порыв угасал. Зачем? Будь это старые солдаты, его солдаты, которых он водил в бой в трех войнах и которые знали своего принца, у них нашелся бы общий язык. Но эти, эти новые, отравленные мятежом и забрызганные братской кровью, они схватили бы его, грубо поволокли бы в ближайший блокгауз, требуя у такого же, как они сами, офицера денежной награды за поимку самовольно перешедшего границу «врага народа».

Язон вскоре не излечился, нет, а придушил в себе это тяготение сделать хотя бы несколько шагов по земле, которая в течение десяти веков была землей династии Атланов и которую теперь раздирают на куски темные, без роду и племени, проходимцы.

Первое время он избегал не только больших городов, но и вообще городов и неделями жил в какой-нибудь беспросветной глуши, где его никто не знал и никто не мог им интересоваться. Вот почему долгое время ищейки Адольфа Мекси сбивались с ног в бесплодных метаниях и розысках.

На след князя Мавроса хотя и легче было напасть, но и за ним долго и безрезультатно

гонялись сыщики закулисного правителя Дистрии.

А в свою очередь Маврос, не зная ни минуты покоя, мучительно искал своего принца. Уверенный, что принца надо искать в каком-нибудь из крупных центров, он колесил по всей Европе, перебивал постепенно в Будапеште, Вене, Риме, Берлине, Брюсселе. Он обосновался наконец в Париже, сломленный тщетностью поисков и безденежьем. Он израсходовал все, что имел, а продать или заложить какую-нибудь из спасенных им королевских драгоценностей не поднималась рука.

И он уже приходил в отчаяние, и мрачная мысль овладевала этим верным адъютантом своего принца, мысль, что им никогда, никогда больше уже не встретиться. А между тем они жили около двух месяцев в Париже, и не на разных концах, а только Площадь Звезды разделяла их. В самом деле, расстояние между отелем «Фридланд» и мансардой, приютившей князя, не превышало каких-нибудь восьмисот шагов.

Эти восемьсот шагов разделяли двух человек, так искавших друг друга. Маврос жаждал

вручить Язону целое состояние и, дабы не тронуть из этого состояния даже малейшей крупицы, поступил в лакеи. Язон, у которого не осталось ни одного франка, не подозревавший, что его миллионы, его собственные миллионы находятся так близко в надежных руках, поступил в цирк в наездники высшей школы...

21. ЩЕКОТЛИВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Еще две недели назад Мекси и Фанарет находились в Венеции, но как только Церини известил патрона своей телеграммой, что Язон отыскан в Париже, через два дня Мекси и Медея уже занимали роскошные апартаменты у Ритца.

Сидя в ванне, дистрийский волшебник принимал доклад своего личного секретаря.

Арон Цер, в сиреневом жакете, в руке — сиреневый цилиндр, почтительно стоял перед своим нежащимся патроном. Порою, когда ощущение этой теплой воды было особенно приятно Мекси, он «пофыркивал», жмурясь, как молодой резвящийся гиппопотам.

— Я так и знал. Я ей говорил еще в Мон-

те-Карло: всех сбережений хватит ему всего разве на несколько месяцев. Так и вышло. Церини, вы говорите, у него не было чем заплатить двухнедельный счет?

— И еще как не было, — ухмыльнулся Арон Цер.

— Великолепно. Вот обрадуется Медея. Ну что же, его попросили очистить номер?

— Не совсем. Он получил аванс и заплатил по счету.

— Аванс? Какой, откуда? — и Мекси, удивленный, резко повернулся. Вода пошла через край белой мраморной ванны.

— Ну, так вы ничего не знаете? — обрадовался Цер возможности еще более удивить своего патрона. — Вы ничего не знаете? Он поступает в цирк и будет там ездить верхом.

— В цирк? Верхом? Вы с ума сошли, — новое, еще более резкое движение, мыльная вода забрызгала панталоны Цера, и он поспешил увеличить расстояние между собой и ванной.

— Да, да, это верно. Если я не читал своими глазами контракт, я знаю его содержание. Он выкрутился. Ну хорошенькое дело, а? Чем он

кончит, наследный принц Дистрии? Цирк? Цирк, где каждый может его освистать сколько душе угодно. Сенсация, что?

— Да, это сенсация, — повторил как бы про себя Мекси, — мужчина смелый, что и говорить. Он использовал свое искусство ездить верхом. Воображаю, как будет хохотать Медя! Ну, что же! Постараемся испакостить и его новую карьеру. Все это будет забавно... Очень забавно...

Через два-три часа Арон прибежал с новым докладом. Новая сенсация.

— В двух шагах отсюда, в ресторане «Пикадилли», князь Маврос, достойный адъютант своего принца, служит лакеем. Да, лакеем. Салфетка, фрак, все как следует. Подает кушанья, берет чаевые...

На этот раз такое «падение» Мавроса, потомка владетельных князей, не заинтересовало Мекси. Его заинтересовало другое, более важное. Колье.

— Церини, слышите? Необходимо установить две только вещи. Первая — хранит ли Маврос драгоценность у себя или в каком-нибудь банке, это раз, и второе, успел ли он пе-

передать колье принцу?

— Думаю, что нет.

— Что нет?

— Я думаю, не успел передать. Я все время их выслеживал. Когда Язон вышел от Мавроса, он вышел с пустыми руками, без ничего, без какого-нибудь свертка, совсем без ничего...

С минуту Мекси напряженно обдумывал что-то. Затем, круто повернувшись к Церу, схватил его за плечи и потряс.

— Церини, сейчас или, или никогда. Слышите, действовать смело, решительно. Берите кого угодно в помощники, не жалейте каких угодно денег, но постарайтесь возможно скорее добыть колье. Инстинкт подсказывает мне — оно у Мавроса. Где он живет? Отель? Квартира?

— Ни в отеле, ни в квартире. В мансарде для прислуги. Я все узнал. Какая это мизерная себе комната...

— Тем лучше. Тем более шансов сделать то, что я вам приказываю. Церини, я никогда не забуду этой услуги, никогда, слышите? — и Мекси еще раз потряс за плечи своего секре-

таря.

Цер, весь красный, тяжело дышал. Опасение перед возможностью попасть в тюрьму за кражу, боролось в нем с жадностью. В случае успеха Мекси озолотит его. Он знал это. Также, с другой стороны, знал, что тюремный режим в этой республиканской стране — совсем не сладкий.

Но почему тюрьма? Почему это дело должно непременно окончиться тюрьмой? Ему, Ансельмо Церини, всегда и во всем везло. А этот шрам, этот след тяжелой руки гусарского ремонтера — это лишь исключение, подтверждающее правило. Это одно из тех пятен, что и на солнце бывают.

Помолчав, словно взвешивая, ринуться ли ему в зияющую под ногами бездну или не сделать этого, Арон, потрянув головой и в такт двинув обеими руками, вспомнив свою азартную молодость, когда он играл наверняка, решил попытать счастья на поприще хотя и не совсем чуждом, но менее знакомом, чем карты.

Из ящика письменного стола дистрийский волшебник вынул спрессованный кирпичик

склеенных бандеролью тысячефранковых билетов. Арон на лету подхватил этот брошенный ему кирпичик.

— Сто тысяч франков на предварительные расходы. За эти деньги вы можете нанять не только вора, но и убийцу. Хватит?

— Почему же нет? Хватит...

— Ступайте, и без колье не смей показываться мне на глаза, — отчасти пошутил, отчасти пригрозил Мекси, и Арон понял это именно так.

Он ушел. Боковой карман сиреневой визитки оттопыривался. В этом кармане Цер уносил почти целое состояние, прикидывая, сколько из этих ста тысяч франков сэкономит он в свою пользу.

Патрона Арон оставил в сильнейшем волнении. Мекси за всю жизнь свою никогда еще так не волновался. Не волновался он в такой степени даже накануне дистрийской революции, бывшей делом его собственных рук.

Безумное желание Медеи Фанарет обладать заветным колье из скарабеев превратилось у нее уже в нечто маниакальное. Всю ее поглотили, всю ее целиком, эти двадцать три

звена ожерелья, насчитывавшие несколько тысяч лет и украшавшие двух королев.

Она прямо заявила своему любовнику:

— Если ты не добудешь мне этого колье, только ты меня и видел. Брошу тебя.

Фанарет знала цену своим словам, потому что знала цену своих чувственных чар, сделавших Мекси ее рабом. И Мекси знал, что он раб и что разлука с Фанарет была бы невыносима. Напрасно пытался он образумить Медею:

— Ну хорошо. Допустим, нам удалось похитить колье. Допустим. Какой же будет из него толк, если тебе нельзя будет в нем показаться? Оно единственное. Другого такого нет на всем земном шаре. Если ты появишься в нем где-нибудь, об этом заговорят, напишут в газетах, и, ты понимаешь, Язон может возбудить преследование.

— Скажите, пожалуйста, сколь трогательно твоя заботливость. Миленький, не беспокойся, я не буду его надевать. Мне будет довольно сознания, что оно мое, понимаешь, мое. Помни же, я никогда не бросаю обещаний на ветер. Мой ультиматум непоколебим.

Мне надоели все эти неисполненные обещания, и я уже начинаю терять веру в твое всемогущество...

Вот почему так волновался дистрийский волшебник. Медея начинала терять веру в его волшебную силу.

22. ДИПЛОМАТ И ВЗЛОМЩИК

Арон Цер тоже очень волновался.

Он шел по Большим бульварам, и ему казались раскаленными плиты панелей. Он вспомнил факира, свободно ступавшего по горячим углям, и позавидовал ему. Зная Мекси, он был уверен: в случае малейшей неудачи Мекси не задумается выгнать его, как проштрафившегося лакея.

Кирпичик тысячефранковых билетов жег ему грудь. Это было почти физическое страдание. Им уже овладевало малодушие, и являлось желание вычеркнуть все, считать недействительным и взятое на себя опасное поручение, и взятый аванс.

И вдруг Арон Цер столкнулся с молодым человеком.

— Атласберг?

— Цер?

— Ты что здесь делаешь?

— А ты?

— А ты?

— Ой, каким же ты франтом.

— Ты тоже ничего, себе.

На Больших бульварах столкнулись нос к носу друзья детства. Хотя не совсем так. Цер был лет на пять старше Атласберга. Когда Цер, кочуя по ярмаркам, обыгрывал помещиков, ремонтеров и купцов, юный Атласберг начинал свою карьеру фармацевтическую в одной из аптек Винницы.

Уселись за мраморный столик на веранде кафе и потребовали две порции мороженого.

— Что ты делаешь в Париже? — задал вопрос Арон.

— Я состою секретарем советского посольства, — с важностью ответил Атласберг.

— Вот как? — вырвалось у Цера с завистливым удивлением. — Ты далеко пошел. И подумаешь! Дипломатом! А помнишь, как ты изготавлял слабительные пилюли?

— Друг мой, если мы начнем вспоминать прошлое, честное слово, Цер, тебе поздоро-

вится еще меньше, чем мне, — и Атласберг значительно взглянул на шрам Арона. История этого шрама, очевидно, была известна Атласбергу. Арон ответил в примирительном духе:

— В самом деле, зачем? Не надо вспоминать! Будем говорить о том, что есть, не о том, что было.

— Самое лучшее. А тебе хорошо? Какой бриллиант на пальце!

— У тебя еще больше. Сознаться, снял с пальца какого-нибудь расстрелянного буржуя.

— Фе... — сделал гримасу Атласберг. — Это дело чекистов — снимать.

— А ваше дело носить?

— Хотя бы и так. Ну, чем же ты занимаешься?

— Я личный секретарь Адольфа Мекси.

— Адольфа Мекси? Так ты же персона...

— А ты что думал? Мекси — это почище всякого Ротшильда. Я у него самый первый человек, у Мекси...

Друзья, съев мороженое, потребовали еще две порции. Этим Арон охлаждал свое внут-

реннее кипение. Атласберг, присматриваясь к нему, с участием задал вопрос:

— Что с тобой? Как будто немного паршивое настроение, а?

— Ты угадал...

Внезапная мысль осенила Арона.

— Атласберг, ты можешь мне помочь?

— К твоим услугам, — не без галантности ответил секретарь советского посольства. — В чем же, собственно говоря, дело?

— Дело, видишь, вот в чем. — Цер понизил голос до шепота, косясь на соседние столики, к его удовольствию, не занятые. — Дело в следующем: я, как тебе сказать, должен выполнить одну очень щекотливую миссию. Тебе, другу детства, я, конечно, откроюсь.

— Можешь смело на меня положиться, — кивнув головой, обнадежил Атласберг.

— У одного человека надо изъять очень драгоценную вещь. Ценность ее, как бы тебе сказать, условная. Это не золото, не валюта, не камни, это, понимаешь...

— Довольно. Подробности несколько не интересуют меня. Ты только скажи, этот человек белогвардеец, буржуй?

— Да, да, и белогвардеец, и буржуй, — обрадовавшись, подхватил Цер. — И, мало того, и еще князь и полковник. Он украл эту вещь у нас, и мы желаем ее вернуть. Когда я с Адольфом Мекси сделал революцию в Дистрии, этот белогвардеец...

— Ша, Арон, ни слова больше. Не надо. Все мои симпатии уже на вашей стороне. Я всегда рад напакостить этим проклятым буржуям. Слушай, у нас есть в посольстве один замечательный товарищ, это же гений, конфетка. Художественная работа. Откроет какой угодно замок, проникнет куда только ты себе хочешь. Мы его держим для особых поручений. Ну, какие-нибудь документы или что-нибудь в этом роде. Я же тебе говорю: конфетка, жемчужинка.

— Давай мне его, давай, — зажегся Цер.

— А какой ты можешь заплатить ему гонорар?

— Гонорар? Большой. Тысяч десять франков. Мало ему, что?

— Слушай, Цер, этот человек не нуждается, ведь это же, это... Сам Раковский, — понимаешь, что такое Раковский? Посол. Ну, так сам

посол с этим человеком любезен. И еще как. Без него, без этого человека, мы не можем обойтись.

— Атласберг, теперь я тебе говорю, ша... Я тебя спросил, будет ли с него довольно десяти тысяч франков, ты...

— Так я же тебе ответил. Ты же видишь, какой это человек. Он из Лодзи. Ты знаешь, — все взломщики несгораемых касс, все они из Лодзи. Ну, так вот он то же самое. Нет, он и говорить не станет, а на десять тысяч и не посмотрит.

— Ну, тогда сколько же? Двадцать? — нерешительно выдал из себя Цер.

— Я думаю, он возьмет двадцать. Но только, Цер, это еще не все.

— А что еще? — с неудовольствием спросил Арон.

— Ты забыл про комиссионные.

— А кто комиссионер?

— Кто? Естественно же, я.

— Друг детства, — с упреком и горечью прошептал Цер.

— Сентименты, — махнул рукой Атласберг. — В наше время даже родные братья

платят друг другу комиссионные.

— Сколько же?

— Столько же. Двадцать тысяч франков.

— Ой, Атласберг, будет же с тебя десять?

— Десять, да, но сейчас, авансом, остальные же десять...

Атласберг свел Цера со специалистом по несгораемым кассам. Шутка ли, этот человек в фаворе у самого товарища Раковского.

Цер ожидал увидеть страшного бандита с каторжной физиономией и, по крайней мере, с бельмом на глазу. Ничего подобного. Миниажурный смазливый брюнет, с мягкими кошачьими ухватками и с внешностью альфонса.

Почтенное трио сидело в кабинете у Пайяра. Специалист — его звали «товарищ Замшевый» — деловито осведомился, где придется работать.

— В мансарде, где живут прислуги.

— Самое лучшее время девять утра, — заметил товарищ Замшевый. — В этот час уже никого нет. В половине девятого мы встретимся с вами под аркой Звезды у могилы Неизвестного солдата. А его не будет, хозяина,

в девять часов?

— Насколько я знаю, — не будет. Мне уже сказали там, в «Пикадилли». Ровно в девять он будет на месте — он лакей, — чтобы взять расчет. У нас в распоряжении какие-нибудь пятнадцать минут.

— Довольно за глаза, — обнадежил товарищ Замшевый. — Итак, по рукам?

— По рукам.

— Деньги на стол, все двадцать тысяч.

— Может быть, половину?

— Какая там половина? Буду я пачкаться!

Все...

Цер со вздохом полез в карман сиреневой визитки и вынул стопочку новеньких билетов. Хрустящий шелест девственных бумажек.

«Товарищ Замшевый» небрежно скомкал свою порцию и сунул в карман брюк.

— А я? — напомнил о себе Атласберг.

— Ах, еще ты? — недовольно поморщился Цер, подсчитывая, что ему, Церу, остается всего шестьдесят тысяч.

— Бандиты, грабители, — мысленно выругал он товарищей Замшевого и Атласберга.

Специалист по несгораемым кассам потребовал шампанского, и все трое чокнулись за успех задуманного предприятия.

23. КАК ЭТО ПОВЛИЯЛО НА МАВРОСА

Всю эту ночь Маврос почти не сомкнул глаз. Великая радость, радость неожиданной встречи со своим принцем, гнала прочь сон, будила целый хаос воспоминаний, мыслей, надежд на будущее. Теперь, когда они вместе, будущее это уже не казалось таким беспроектным. Наоборот, князь теперь все видел окрашенным в розовый цвет. Свою службу «гарсона» он будет вспоминать как забавный эпизод, вспоминать без всякой горечи.

По привычке делать тщательный утренний туалет, вымывшись с ног до головы в своей бедной мансарде, не выспавшийся, но бодрый, полный жизни, спустился с шестого этажа и вышел на залитое солнцем авеню Виктора Гюго.

Как ни пытался этот волей революции попавший в гарсоны владетельный князь скрыть, затушевать свое происхождение, по-

пытки его были тщетны. Все, начиная с хозяйки, метрдотеля и кончая целой маленькой армией таких же, как и он сам, гарсонов, не сомневались, что мосье Анилл менее всего лакей по профессии. Мужчины с такой внешностью сами пьют и едят, и то и другое смакуя, в первоклассных ресторанах, а не подают тарелки и не раскупоривают вино для других посетителей.

Но пока он «работал», никто из начальства и сослуживцев-коллег не сделал ему даже малейшего намека: «Мы, мол, догадываемся, что вы за птица и откуда, из каких заоблачных высей к нам залетели». Маврос оценил деликатность и такт всех тех, с кем он изо дня в день связан был общим делом.

И только теперь, когда он уходил навсегда, хозяин, полный, румяный, весьма буржуазной внешности господин, с лукавым видом, — не проведешь меня, — разоткровенничался:

— Мосье Анилл, я рад от всего сердца, что обстоятельства позволяют вам покинуть нас. Я ничуть не сомневался, что этот день наступит очень скоро. Ведь вы такой же гарсон,

как, например, я — генерал-губернатор Индокитая. Даже больше скажу, мне в нашей демократической Франции легче сделаться генерал-губернатором Индокитая, нежели вам... Ну, да вы меня понимаете... Останетесь в Париже, милости просим, но уже в качестве гостя. Вам — обязательная двадцатипроцентная скидка. Так и знайте. Так, «*mon marquis ou mon comte*» [6]. Ведь вы же, наверное, маркиз или граф? Во всяком случае, вы вписали дьявольски эффектную страницу в биографию моего «Пикадилли», да и в свою собственную... — с улыбкой прибавил хозяин.

Столь же трогательно было прощание и со всем персоналом, и каждый спешил сказать в напутствие что-нибудь хорошее, благожелательное. Повара в белых накрахмаленных колпаках, торопливо обтерев замасленные руки о белый передник, тянулись этими руками к покидавшему заведение «гарсону».

И они, словно сговорившись с патроном, хотя и не думали стовариваться:

— Милости просим к нам. Но уже в качестве гран-сеньора в своей настоящей оболочке. Уж мы вас так накормим, так постараемся,

пальчики оближете...

Маврос, этот военный с головы до ног и солдат, участник трех войн, не был сентиментальным, но когда он уходил, на его ресницах дрожали крупные слезы, он не спешил утереть их, и они алмазинками блестели на утреннем солнце...

Как радостно, как волнующе хорошо начинается этот день! Какие напоенные солнцем, чистые, прозрачные воспоминания оставит он по себе. Да, прав хозяин, прав. Он, Анилл Маврос, вписал в свою биографию эффектную страницу и сейчас, сию минуту, закончил эту страницу сочной и круглой точкой. Точкой ли? Пока — несомненно, а дальше — дальше, как знать, чего не знаешь? Это «как знать, чего не знаешь» было ходячей фразой у дистрийского простонародья, особенно в казармах среди солдат. «Как знать, чего не знаешь», — с непривычки — едва ли не бессмыслица, а вслушаешься: пожалуй, не глупо, совсем не глупо.

Маврос имел еще минут двадцать пять свободных, и эти двадцать пять минут некуда было девать...

Ровно в десять он должен встретиться со своим принцем у могилы Неизвестного солдата. Какое совпадение! У той же самой могилы «товарищ Замшевый» назначил свидание Арону Церу, такому же, как и он сам, проходимцу.

Маврос горел нетерпением увидеть Язона, минуты вырастали в часы, и он не знал, как убить их.

Он успел перечитать на мраморных плитах Арки Звезды имена героев-сподвижников Наполеона. Здесь и маршалы, и генералы, и адъютанты, и простые офицеры — все, кто где-нибудь чем-нибудь отличился.

Вряд ли в целом свете имеются еще такие же богатейшие, монументальные скрижали — скрижали нетленной славы.

Покончив с этими скрижалями, Маврос убедился: осталось еще целых четыре минуты. Чем бы еще заняться, чтобы они, подобно предыдущим, канули в вечность. Ах, вот разве, удобный случай, убедиться, действительно ли двенадцать авеню попадают в площадь Этуали, подобно двенадцати рекам, несущим по радиусам воды свои в море. И князь при-

нялся считать, загибая один за другим пальцы на обеих руках.

— Авеню де Буа, авеню де Булон, авеню Клебер, авеню Виктор Гюго, авеню Карно, авеню Клобер, авеню д'Иена, авеню Гош, авеню Фридланд, авеню Шан-Зелизе...

Язон, коснувшись рукой плеча своего адъютанта, прервал его математические вычисления.

— Вот и я. С добрым утром. Я тебе помещал, Маврос? Ты предавался какому-то глубокомысленному занятию...

Анилл сконфузился, как пойманный в минуту шалости школьник!

— Ваше Величество, я любовался красотой, архитектурной красотой площади. В мире, пожалуй, нет другой такой.

— Даже наверное нет. Что ж, пойдем к тебе, возьмем драгоценности. Колье упрячем в сейф «Лионского кредита», остальное превратим в деньги. А затем, затем я тебя перевезу к себе.

— Последнее будет сопряжено с наименьшими хлопотами, — улыбнулся Маврос. — Весь мой багаж уместится в одном чемодане.

— И ты простишься навсегда со своей мансардой?

— И смею, Ваше Величество, уверить — без малейшей горечи.

Через несколько минут Маврос открыл дверь своей комнаты и, пропустив Язона, вошел вслед за ним.

— Вот здесь, в среднем ящике. Наконец, наконец-то я могу... — Маврос, не договорив, осекся. С замораживающим ужасом убедился он, что ящик комода, оставленный им плотно закрытым, немного выдвинут...

И с каким-то отчаянием, судорожно цепляясь за какую-то надежду, князь так рванул ящик, что, выпрыгнув из гнезда; он остался у него в руках. Ящик был пуст. В нем ничего не было, кроме заветного свертка, а сейчас не было и этого свертка.

Мавросу показалось, что он сходит с ума, что он потерял память и как-нибудь положил свертки не в средний ящик, а в нижний или в верхний. И он с бешенством вырвал оба и бросил на пол. И в том и другом белье, галстуки, какая-то мелочь, но ни в том, ни в другом свертка не оказалось

Принц невозмутимо наблюдал все это, и его невозмутимость еще более разжигала отчаяние Мавроса.

— Обокрали. Нас обокрали. — И с искаженным лицом, стиснутыми зубами князь так схватился за голову, так сжал ее крепко и больно, словно хотел раздавить череп, чтобы ничего больше не сознавать, не видеть, не чувствовать.

Он бросился к одному из ящиков и, судорожно выбрасывая белье, искал, искал. В его руке блеснуло что-то тяжелое, темное. Это было так странно, — только через секунду сообразил принц, что это револьвер.

— Маврос.

Но Маврос уже был в трех-четырех шагах от него.

— После этого я не могу жить. Не имею права, не должен.

— Маврос, отдай мне револьвер.

— Я сказал, решил, и...

— Да ты сумасшедший. Пусть так, пусть даже украли, да я не отдам тебя за все драгоценности в мире.

Маврос пятился. Его красивое лицо теперь

было чужое, страшное. Да, в этот момент он был невменяем, и никакими словами, убеждениями его уже не остановить... Глядя безумными глазами на принца и не видя его, Маврос теперь уже не человеческим, а каким-то звериным движением, сгибая локоть, подносил револьвер к виску...

Стремительный бросок всего тела вперед... Язон уже вплотную, рядом, грудь с грудью и, поймав руку Мавроса, зажал ее в стальных тисках. Маврос с тем же лицом и яростно сжатыми зубами пытался вырваться, но парализованные пальцы разжались, выпустив револьвер, со стуком упавший на каменный пол. Принц сначала наступил на револьвер ногой, а потом сунул его в карман. Катастрофа миновала.

— И тебе не стыдно, Маврос? Не стыдно?

Маврос тяжело дышал и вдруг как-то погас весь. Язон привлек его к себе.

— Пустяки. Право же, есть о чем убиваться! Проживем и так. Было бы здоровье, было бы солнце, была бы вера в себя и в свои силы. Мы с тобой потеряли гораздо больше, чем... чем это колье, и, однако, живем и будем жить

ровно столько, сколько нам положено. Ах ты, горячая голова! Все вы, Мавросы, такие. Ну, успокойся же, успокойся.

— Ваше Величество, я уже спокоен, — ответил Маврос, действительно овладевший собой. — Я бесконечно признателен Вашему Величеству, но не за то, что вы спасли мне жизнь, да, да, не за это, — решительно повторил князь, прочитав недоумение на лице Язона, — а за то, что вы удержали меня от непростительной величайшей глупости. В самом деле, этому священному колье я буду гораздо полезнее живой, чем мертвый. Ясно, как Божий день, этот мерзавец Мекси, похитивший у вас трон, похитил и колье, в чаянии лишнего поцелуя, лишних объятий, которыми его наградит Медея. Нельзя не признать, Ваше Величество, работа чистая, профессорская работа. Мекси нанял себе весьма искусных бандитов. Заметьте, никаких следов. В мое отсутствие они обработали все это в несколько минут. И ключ был подобран, и этим ключом, уходя, закрыли дверь. Недаром вертелся этот Церини, этот провинциальный светло-сиреневый шут. Самое главное, мы знаем, кто во-

ры и у кого надо искать украденное. И даю клятву и Вашему Величеству, и самому себе, что мы вернем колье, вернем, хотя бы ценой мой жизни.

— Маврос, ты опять принимаешься за глупости?

— Нет, это не глупости. Теперь это все для меня — все, и ради этого я хочу жить, хочу, — и окрепший голос Мавроса звучал жуткой многообещающей угрозой. Сейчас это был прежний, сильный, отважный Маврос, хотя за минуту, в припадке горя, покушавшийся на самоубийство.

24. ПЕРСИДСКИЙ ПРИНЦ — МЕТАТЕЛЬ НОЖЕЙ

В устах директора цирка Гвидо Барбасана не было красивой фразой, когда он сказал новому наезднику высшей школы, что он, Ренни Гварди, попадет в «свое общество».

Кровавый вихрь сатанинской революции, промчавшийся над Россией, острым концом вниз опрокинул тысячелетнюю пирамиду всего государственного строя величайшей империи. Вернее, верхи, самые культурные, самые породистые оказались поверженными во прах, а низы — самое темное, самое плебейское — взметены были вверх.

Бывшие верхи, уцелевшие от разгрома, хлынули за пределы обезумевшей, окровавленной Совдепии и создали трехмиллионную эмигрантскую армию, рассеявшуюся по всему свету.

В кого только не превратились и чем только не занялись бывшие русские офицеры, помещики, студенты, сановники! Их не испугали невзгоды, лишения, не испугал и тяжелый физический труд. В Европе, да не только в Ев-

ропе, не был редкостью чернорабочий с академическим или университетским значком. Полковники, мировые судьи, чиновники министерств, юные поручики и корнеты прокладывали новые шоссейные дороги на головокружительных высях суровых Балканских гор.

Дочери, жены и сестры этих генералов и чиновников, воспитанные в лучших институтах, светские, знавшие несколько иностранных языков, шили белье, работали в модных мастерских, поступали в няньки и горничные. Все, как умели и могли, применяли свои способности и знания. Одним везло больше, другим — меньше.

К числу тех, кому повезло больше и кто сумел наивыгодней приспособить себя и свои данные, отнесем небольшую группу тех, кого имел в виду Барбасан, говоря Язону: «Вы попадете в ваше общество».

Начнем с королевы пластических поз Дианиры. Конечно, Дианира — псевдоним. Скрывалась под этим псевдонимом княжна Елена Дубенская. Революция, уничтожив не только всю ее многочисленную семью, но и

почти всю родню, превратила ее в сироту, одинокое, совсем одинокое существо.

Это была девушка лет двадцати четырех — в момент нашего рассказа — светловолосая, с безукоризненно-точеной фигурой, правильным, классически-правильным лицом и с вечной тоской, тихой напряженной тоской в больших серых глазах, широко поставленных, как у античной богини. Хотя это была скорее печаль, печаль по прошлому, по близким, дорогим безвестным могилам, печаль по России, по всему, что с детства было таким дорогим, незаменимым, желанным.

Как попала княжна Елена Дубенская в цирк на амплуа королевы пластических поз? Случайно. Все в жизни — случай.

Ее устроил там сам уже устроившийся полковник принц Фазулла-Мирза. Настоящий принц древней персидской династии Каджаров. Полностью он так и назывался: принц Каджар Фазулла-Мирза. Он вырос, воспитывался в России, всю свою молодость прослужил в кавалерии. На войне командовал в так называемой Дикой дивизии Дагестанским полком. Убитый большевиками брат Елены

Дубенской служил под командой Каджара. Встретившись с Еленой в Париже, Фазулла-Мирза пообещал ей найти какое-нибудь занятие, и в конце концов нашел. Еще в кадетском корпусе, еще в Елисаветградском кавалерийском училище юный персидский принц изумлял и сверстников, и начальство своим искусством метания кинжалов. Взяв двумя пальцами за остро отточенный, как бритва, клинок, Фазулла-Мирза неуловимым приемом, с неуловимой стремительностью бросал кинжал. Перевернувшись несколько раз в воздухе, клинок попадал острием в любую намеченную точку. Жгучий перс проделывал это шутя, проделывал и более сложные вещи: рассекал надвое приклеенную к доске папиросу и с помощью нескольких кинжалов очерчивал математически правильный круг.

Юнкера настолько верили в «метательный гений» Каджара, что сплошь да рядом какой-нибудь из них, любитель сильных ощущений, предлагал себя в качестве мишени. Он становился спиной к дощатому забору, держа руки на высоте плеч и ладонями наружу. Толпа зрителей-юнкеров, затаив дыхание,

следила, как Фазулла-Мирза обрисовывал ими контур отдававшегося в его распоряжение добровольца. Клинки со страшной силой вонзались в дерево, образуя нечто вроде ореола или сияния вокруг головы. Втыкались между растопыренных пальцев, вдоль ног, вдоль всего тела. И когда «доброволец», не спеша, осторожно, чтобы не порезаться, покидал свою позицию, на заборе оставался его силуэт, отмеченный двадцатью-тридцатью кинжалами. В России, да, пожалуй, и в Европе светлейший метатель ножей не знал себе соперников.

Разве только лишь японские и китайские специалисты могли не только сравняться с ним, а пожалуй, и превзойти.

Сначала кадетом-юнкером, потом молодым офицером, потом уже командуя эскадронном, всегда, ежедневно, тренировался принц Фазулла-Мирза в бросании клинков — их он имел громадное множество — всевозможных величин и форм. Полковник Каджар был изумительным мастером своего дела, и спустя много лет, когда этот обломок российского корабля закинуло в Париж, его мастерство весь-

ма и весьма пригодилось. Падкий до сенсаций, Гвидо Барбасан случайно узнал, что в дрянном отеле, в дрянной комнате живет голодающий не индус, нет, — индусам приличествует голодать, — а персидский принц, и не какой-нибудь «собственного» послевоенного производства, а настоящий. Его деды, прадеды и более отдаленные предки сидели на шахском престоле, и в короне их был такой чудовищный бриллиант, какому нет равного, пожалуй, во всем мире.

Барбасан менее всего был снобом. Для этого он был слишком художником своей профессии. И, ничуть не рискуя умалить свое достоинство, Гвидо Барбасан, взяв такси, помчался из своего клокочущего центра на более тихий берег Сены.

Принц двое суток ничего не ел, трое суток не брился и, заросший седеющей густой щетиной, героически отлеживался, чтобы аппетит, изгрызший все внутренности, не очень уж напоминал о себе.

Стук в дверь. Не успел лежавший в пальто принц сказать «антрэ», не успел приподняться, как в номере, вместо одного человека, бы-

ло уже два, и сразу стало тесно.

Ни колючая щетина, ни потертое с глянцем пальто, ни отсутствие воротничка не обманули Барбасана. Прекрасные военные манеры и такой же прекрасный французский язык дополнили впечатление.

К довершению всего принц, этот жгучий темно-смуглый поживший брюнет, оказался добросовестным человеком.

— Я и забыл, как это делается. Давно, очень давно, с самой войны, я уже не тренировался.

— Ваша Светлость, можно забыть математические формулы, но нельзя забыть ездить верхом, плавать, делать сальто-мортале, метать ножи. Нельзя! Немного поупражняться, поднабить руку и глаз, и все пойдет, как по маслу. Скажите другое, Ваша Светлость, быть может... ваш титул...

— О, в этом отношении я без всяких предрассудков. Мой титул может помешать мне украсть, обидеть кого-нибудь, сделать дурной поступок, но честно зарабатывать хлеб — никогда!

— В таком случае мы сговоримся и пойдем друг друга с полуслова.

И действительно, стоворились и поняли. И прежде всего, получив аванс, принц Каджар стоворился и со своим отощавшим желудком, и с парикмахером, помолодившим его лет на пятнадцать.

Барбасан в спешном порядке заказал две дюжины острых и длинных, исполненных по особому рисунку ножей. Неделью принц тренировался, а еще через неделю уже начал выступать в цирке под псевдонимом «Персиани». Но псевдоним был секретом полишинеля. Публика знала, кто скрывается под этим «Персиани».

Хотя велико было искусство метателя ножей, однако никто не решался изображать собой живую мишень, пока не нашелся безработный русский офицер, за десять франков в вечер рискнувший выдерживать стальной дождь ножей, чертивших его силуэт на деревянном экране.

«Персиани» увеличил сборы. Гвидо Барбасан от удовольствия потирал руки.

— Пусть попробуют сказать обо мне, что я не ловец жемчуга.

Вслед за первой жемчужиной вторая, тре-

Тья.

Принц Каджар сначала потянул за собою офицера своего полка, своей Дикой дивизии. Это был ротмистр Заур-бек, ингуш-мусульманин с бритой головой и черными усами. Лицо типичнейшего янычара. В походке и в цепкой фигуре с тонкой талией что-то хищническое. Он не ходил, а подкрадывался бесшумно и мягко. С головы до ног кавказский горец.

Барбасан использовал его умение джигитовать. Одетый в черкеску, Заур носился по кругу на небольшом горячем скакуне, стреляя из винтовки, поднимаясь во весь рост над седлом и со страшным гортанным гиканьем, леденящим зрителей, подхватывая на карьере монеты, сигары, миниатюрные дамские платочки. То он вдруг оказывался уже под брюхом лошади, и уже оттуда раздавался выстрел его винтовки.

Почти на таком же амплуа был другой наездник — Антонио Фуэго, молодой красавец-ковбой. Казалось бы, Фуэго должен был ревниво относиться к наезднику, работающему едва ли не в одинаковом с ним жанре. Казалось бы. А на самом деле Фуэго и Заур-бек с

первых же дней подружились, так подружились — водой не разольешь.

Слишком много общего было у этих двух всадников — сына бразильских прерий и кавказского горца. Сблизило их все, начиная с любви к лошади и кончая отвагой, удалью и широтой натуры, тем, что дается либо необъятной равниной, либо царством заоблачных скал...

25. ПРОИГРАННОЕ ПАРИ

Однажды, беседуя кое с кем из своих артистов, Гвидо Барбасан, неутомонный, вечно искавший притягивающих номеров, заметил:

— Эффектный был бы номер, очень эффектный!

— Какой?

— Королева пластических поз. И ничего не надо. Никакой акробатики, выучки, надо иметь безупречную фигуру, владеть ею. Необходимы также целомудрие и этакая благородная стыдливость. Кто-то сказал:

— Безупречных фигур много, а вот хотел бы я увидеть в Париже целомудрие и стыдливость!

Кругом засмеялись. Барбасан чуть-чуть улыбнулся.

— Я сам того же мнения и поэтому сомневаюсь, чтобы мне повезло найти то, чего я ищу. Нельзя совместить несовместное, — вздохнув, философски прибавил он.

— Другими словами: красота и пластика с одной стороны, а с другой — те добродетели, о которых наш милый директор упомянул только что?

Это сказал метатель ножей Персиани. И, сказав, по военной манере приосанился и даже откашлялся в свои черные густые усы.

— Директор, как всегда, не берет своих слов назад и отмечает с грустью, что королеве пластических поз в таком мечтательном поэтическом жанре, какой он имеет в виду, — не бывать в его цирке, — отозвался старый Гвидо.

— В таком случае, директор, быть может, как спортсмен с головы до ног, рискнет побиться со мной об заклад, — предложил Фазулла-Мирза.

— Сущность заклада?

— Сущность такова: я имею в виду для вас

королеву пластических поз. Мы с вами любим сигары, если королева будет одобрена, вы ставите ящик гаванских сигар, если же вы найдете ее неподходящей, директор выкурит мой ящик.

— Идет. Принимаю, — оживился Барбасан. — И ничего не имею против, чтобы Ваша Свет... хгм, чтобы вы, мосье Персиани, полакомились полусотней превосходных... марку выбирайте сами — «Лопец», «Педро-Муриас», «Фернандец-Гарсиа»...

— Выбор сделан! Я буду курить Педро-Муриас.

— Вы в этом уверены?

— Как в том, что вы — Гвидо Барбасан.

— Ладно, ваша рука.

— Вот она! Перебейте, Фуэго...

Ковбой ребром ладони разъединил руки обоих спорщиков. Артисты, заинтересовавшись этим пари, сами держали, кто за Барбасана, кто за метателя ножей.

— Когда вы мне покажете вашу королеву? — спросил заинтересованный Гвидо.

— Когда угодно. Хотя бы завтра. Условимся: я буду с ней в кафе «Ренессанс», вы как бы

невзначай подойдете, и я вас представлю. Таким образом будут соблюдены аппаренсы. Это барышня из общества. Только вот еще: необходима оговорка. Если надо будет обнажаться — «королева» на это не пойдет. Убежден в этом заранее.

— В том-то и дело, никаких обнажений! Понимаете, никаких! — горячо возразил Барбасан. — Это, быть может, очень хорошо для всяких ревю, в театриках легкого жанра, у меня же цирк, семейный цирк, где я не допущу даже малейшего намека на скабрёзность. Наша королева должна быть задрапирована, и ее тело будет угадываться под античными складками. Обнаженными будут руки, только руки. Это, надеюсь, не смутит вашу протезе?

На другой день в четыре часа в кафе «Ренессанс» Фазулла-Мирза представил княжне Дубенской Гвидо Барбасана. Угадав под скромным платьем девушки точеную фигуру, увидев классический профиль и серые печальные глаза, Барбасан убедился, что Персиани получит ящик самых больших, самых дорогих «Педро-Муриас».

И тут же, после нескольких общих фраз

старый Гвидо с поистине чарующей галантности воспитанных, знающих свет людей предложил Елене Дубенской выступить в его цирке.

— Но ведь я ничего не умею, — потупившись, молвила девушка.

— Сумеете. После двух-трех репетиций! — обнадежил Барбасан. — Оставайтесь сами собой, и, право, мадемуазель, больше от вас ничего не потребуется. Здесь все — природная грация и световые эффекты. Цветные электрические лучи будут озарять вас. Я прикажу поставить самый мощный рефлектор. Это будет музыка для глаз под тихую, чуть слышную музыку оркестра. Белый круглый, под мрамор выкрашенный цоколь будет вашим постаментом. Несколько сменяющих друг друга поз, и это все! Не трудно? После первой же репетиции убедитесь сами, как это легко. Для вас! А другая, сколько бы ни старалась, ничего не вышло бы. Такой пластике нельзя научиться. Ее носят в себе, с ней надо родиться. Что же касается общества, в которое вы попадете, мадемуазель, его не надо бояться. Цирковые труппы — самые нравственные, са-

мые добродетельные из всех артистических трупп, какие только существуют на свете. Уверяю, мадемуазель, никто не позволит себе не только оскорбить вас, но даже и допустить какую-нибудь вольность в обращении. Наконец, у вас будут два таких покровителя, как я, это во-первых, и почтеннейший мосье Персиани, во-вторых. Завтра же после репетиции, — в успехе я не сомневаюсь, — тотчас же подпишем контракт.

Так сделалась «королевой пластических поз» княжна Дубенская.

Книга вторая

1. НИКАК НЕ УГОДИШЬ

А дольф Мекси, никогда или почти никогда не ошибавшийся в своих финансовых и политических комбинациях, самых рискованных, самых головоломных, споткнулся, когда ему пришлось иметь против себя не политику и финансы, а женщину, взбалмошную женщину с тысячами сменяющих друг друга капризами вместо характера.

Необходимо добавить: женщину, сильно его захватившую. Не будь этого, он послал бы ее к черту со всеми ее капризами, как и посылал до сих пор, до появления на своем горизонте Медеи Фанарет. Здесь дистрийский волшебник обжегся, и обжегся пребольно.

Когда Арон Цер доставил ему краденое кольцо, Мекси не верил глазам. Он поймал себя на мысли: это кольцо радует его больше, нежели обрадовался он революции и падению династии в королевстве, когда его наследным принцем был Язон.

Мекси не сомневался: теперь-то, когда сокровище у него, он завоевал Фанарет, завоевал навсегда.

Не она ли, кошечкой прыгнув к нему на колени, обнимая и целуя, щекоча губами ухо, шептала многообещающе:

— Сделай, сделай, и ты увидишь, увидишь, что преданнее, вернее твоей Фанарет не будет никого и ничего на свете...

Вначале, когда Мекси из рук в руки передал ей колье, он не сомневался, что так, именно так и будет.

Медея схватила колье. В глазах у нее потемнело, и она ощутила вдруг такую слабость во всем теле, что пошатнулась. Мекси уже готов был ее поддержать. Но, проведя рукой по глазам, овладев собой, она виновато, чуть-чуть улыбнулась:

— Вот я какая! Нервы... Слишком сильное потрясение. Наконец-то, наконец! — и она всматривалась в эти двадцать три скарабея, и каждый из них тускло, матово-оливковый, истертый временем, глядел на нее мистически и загадочно, как могут глядеть тысячелетия. Мекси, стоявший рядом, уже не существовал

для Медеи.

А он-то рассчитывал на изъявления самой горячей, самой бурной признательности. И вместо признательности...

— Уйдите, уйдите! Какой вы не чуткий!.. Я желаю остаться наедине с этим колье, моим колье. Неужели вы не понимаете?

Мекси «понял» и удалился, хотя и с большой неохотой... Оставшись одна, Медея начала примерять колье, это сокровище двух королев, единственное сокровище, никому, кроме Фанарет, не доступное. Замкнулась платиновая застежка, и вокруг ее шеи легло заветное колье. И она вздрогнула, ощутив какой-то холод от прикосновения скарабеев к своей нежной коже. Из гранитных фараоновых саркофагов принесли они этот холод, и в нем тоже были тысячелетия...

Упоение и восторг сменились разочарованием. Она спросила себя: а что же дальше? Зачем оно мне, это колье, зачем, если я не могу в нем нигде показаться? Оно краденое, а, следовательно, мертвое для меня. Да, мертвое!

И виноватым оказался Мекси...

Кликнув Марию, она велела ей позвать дистрийского волшебника.

Он вошел сияющий, уверенный: теперь-то ждет его запоздавшая награда. Но вместо награды — ледяной душ. Зажав в кулаке драгоценность, Медея поднесла этот кулак чуть ли не к самой физиономии своего покровителя.

— Это насмешка!

— Я... я вас не понимаю.

— Насмешка, говорю! Например, я хотела бы поехать в этом колье на Гран При. Хотела бы, и не могу!.. Не могу, не могу, не могу...

— Медея, будьте же справедливы хоть раз, — жалобно взмолился бедный Адольф. — Ведь я вас предупреждал, а вы мне твердили в ответ, что вы будете довольны одним только обладанием. Вспомните! Вы же примирились с тем, что надевать его можно будет лишь в четырех стенах.

— Тогда примирилась, а теперь, когда оно у меня, теперь...

— Так что же делать? Какой выход? Вернуть Язону?

— Вы с ума сошли? Ни за что... Впрочем, есть выход...

— Какой?

— Вы должны лично объясниться с Язоном.

— Я?! Объясниться с Язоном?

— Да, да, почему бы и не так, раз я этого требую? Вы скажете ему, что кольцо у вас.

— Опомнитесь, вы требуете невозможного! Требуете, чтобы я сознался, что я вор...

— Миллиардер, как вы, может позволить себе такую роскошь. Важно получить от него документ, что он продал вам кольцо за такую-то сумму, и тогда я могу поехать на Гран При, и это будет такой фурор, такой... А что вам стоит предложить ему десять, двадцать, тридцать миллионов, сколько он потребует? Или вам жалко, жалко? — язвительно повторяла Медея, все еще зажимая в кулаке заветное кольцо и наступая на Мекси.

Мекси, попятившись, отвечал:

— Вы знаете, что для вас и ради вас я ничего не пожалею, но эта попытка принесла бы вам лишнее разочарование, а мне такое же лишнее унижение. Да не только унижение! Я сам дал бы этому молодому человеку повод обратиться к содействию полиции. Вдумай-

тесь, и вы поймете всю, всю... — он хотел сказать «нелепость» и сказал:- Всю странность вашего требования. Вы приказали доставить вам колье. Я доставил и теперь умываю руки. Делайте с ним, что хотите! — закончил с раздражением Мекси.

И, не дожидаясь, пока его отпустят, сам ушел. Минутой позже костлявая Мария дала совет госпоже:

— Сеньорита, конечно, это не мое дело, а только не следует натягивать струны. Я мужчин знаю мало, но, мне кажется, мосье Адольф не из тех, которыми можно помыкать без конца. Я все слышала, и мне тон его последних слов не очень-то понравился.

— Ну, хорошо, хорошо, довольно! — обрвала Фанарет свою камеристку, однако приняла ее совет к сведению.

Очутившись у себя в кабинете, Мекси сорвал гнев на своем личном секретаре, благо тот сам дал повод.

Ослепленный собственным успехом, Арон Цер возомнил о себе черт знает что. Нет никакого сомнения, он, Ансельмо Церини, облагодетельствовал своего патрона. Пусть бы кто-

нибудь другой добыл колье, и еще с такой легкостью! Он будет дурак дураком, если на этой комбинации не заработает еще тысяч пятьдесят. Арон Цер уже успел изучить своего патрона, когда можно соваться к нему, и когда нельзя. Он учитывал «психологический момент». На этот раз, увлекшись жадностью, Арон пренебрег моментом и получил щелчок по носу. Увидев, что Мекси мрачнее мрачного плюхнулся в кресло, Арон начал приставать к нему:

— О, сколько же я натерпелся страху! Честное слово, гораздо легче было тогда пробираться на границу, чем теперь иметь дело с этим колье, чтоб ему...

Мекси, не подавая признаков жизни, молчал, стиснув зубы, не слыша или делая вид, что не слышит. Арон не унимался.

— Но я тоже не дурак! Я взял себе в помощники дипломата из советского посольства... Жулик, девяносто шестой пробы жулик! Он с места заломил сто пятьдесят тысяч франков. Я давай торговаться: какое там, ни одного сантима не уступил. Так я ему отдал все сто тысяч, а на остальные пятьдесят он, этот жу-

лик, выманил вексель. Завтра я должен этот вексель выкупить. Патрон слышит? Завтра!

Патрон услышал. Вскочил и, затоптав ногами, он заорал:

— Вон! Пошел вон!

Арон, мелькнув фалдочками своего сиреневого жакета, моментально исчез. И как раз вовремя, ибо патрон вдогонку ему швырнул тяжелое малахитовое пресс-папье!..

2. НЕНАВИСТЬ

Мария дала совет своей госпоже не слишком натягивать струны, так как они могут оборваться. После этого Медея уже милостивее держала себя по отношению к дистрийскому волшебнику. Но надо же было на кого-нибудь или на что-нибудь излить свое бешенство, бешенство от сознания, что колье никак не может быть использовано нигде: ни в театре, ни на прогулке в Булонском лесу, ни на скачках, ни в ресторане. Нигде... Необходим был козел отпущения. Сделать и в дальнейшем таким козлом отпущения Адольфа Мекси было небезопасно. Лукавая Мария никогда ничего не говорила «просто себе». А сле-

довательно, обмолвившись о натянутых струнах, эта злая некрасивая испанка имела какие-то свои личные соображения...

Козел отпущения нужен, хоть тресни!.. Медея Фанарет удесятирила свою ненависть к Язону. Тем более, кто же, как не он, этот принц без королевства, является главным виновником всей ее неудачи? Не будь его в Париже или, это еще лучше, не будь его совсем, она, пожалуй, могла бы красоваться в колье из скарабеев повсюду, где модно, шикарно, блестяще.

И вот как еще совсем недавно желание иметь колье носило поистине маниакальный характер, так вслед за этим в такую же манию обратилась ее жгучая ненависть к Язону.

Медея Фанарет должна была говорить о нем, если не с Марией, то с Мекси, а если не с Мекси, то с Церини. В этих разговорах неотступный, как тень, сюжет было что-то самобичующее. Да, да именно так. И бичуя, терзая самое себя, Фанарет бичевала и терзала своих подневольных собеседников. Например, взять хотя бы Адольфа Мекси. Она не спрашивала его, а выпытывала все, реши-

тельно все, приходившее в голову и, конечно, касавшееся Язона.

— Как вы думаете, он долго продержится в этом цирке?

— Я знаю столько же, сколько и вы. Церини при вас же говорил: контракт на шесть месяцев.

— А дирекция может нарушить контракт?

— Может.

— Сделайте, чтобы нарушила.

— Медея, чего вы добиваетесь?

— Чего я добиваюсь? — и глаза ее округлились в каком-то полубезумии, и она сама не могла сразу ответить. — Чего добиваюсь? Я хочу, чтобы над ним тяготело мое проклятие. Чтобы не знал никогда ни минуты покоя. Чтобы ему не удавалось ничто, и женщины отворачивались от него, как от прокаженного.

Эти страшные пожелания подвергали в тупик даже Мекси, редко чему удивлявшегося и никогда никого не жалевшего. И даже у него срывалось:

— Однако, знаете, Медея, это уже слишком. Я сам не питаю нежных чувств ни к Язону, ни

ко всему уцелевшему его отродью, но согласитесь сами...

— Не желаю ни с кем, ни с чем соглашаться. Нет, нет и нет! Лучше скажите, как еще можно там ему повредить?

— Мы подумаем, подумаем... Хорошие мысли приходят не сразу.

— А я все хочу сразу, хочу! Вы обещали, помните? Мы каждый вечер будем ездить в цирк и, взяв барьерную ложу, будем... Посмотрим, как он смутится, видя нас вдвоем... Каково будет ему сознавать, что мы свидетели его унижения? Каждый вечер! Вы обещаете?

— Обещаю... Раз вам так хочется.

— Какой вы милый, право, милый. Вы балуете меня, вашу несносную злючку. А теперь, теперь объясните мне, зачем он пошел в цирк?

— И это вы знаете, — говорил Мекси со вздохом, как бы вместе с этим вбирая в себя запас терпения. — Он очутился без сантима и решил использовать свои наезднические таланты.

— Но этим он себя роняет?

— Я не сказал бы... В наше время, время такой переоценки всех ценностей? До войны, конечно, это дало бы такой трескучий скандал и вообще вряд ли было бы возможно, а теперь, когда короны посыпались с высочайших голов, подобно осенним грушам...

— Нет, и теперь, и теперь, и теперь! Сознайтесь же, что и теперь?

— Сознаюсь, — с улыбкой отвечал Мекси, как отвечают ребенку. Да разве и не была она большим ребенком? Этот большой ребенок не унимался.

— Ну, а скажите, приехав сюда, он разве не мог обратиться за субсидией?

— К кому?

— Вопрос еще? Естественно же, к французскому правительству.

— Для этого он слишком горд. А затем, я сомневаюсь, чтобы французская власть субсидировала тех безработных принцев, которые ей не нужны. Особенно же теперешняя демократическая Франция. Получи он хотя бы сотню тысяч франков, социалисты в парламенте подняли бы такую бурю! Да вам, Медея, с какой стороны близок этот вопрос? Почему вы

заговорили о субсидии?

— Это еще что за цензура? Потому, хотя бы потому, я вовсе не желаю, чтобы он получал субсидию.

— Успокойтесь, ему никто не дает ни одного сантима. Свои финансы единственно чем бы он мог поправить — это женитьбой на американской миллиардерше. Для них громкий титул еще не утратил своего обаяния.

— Я не хочу, чтобы он женился. Подкупите прессу, пусть его имя затопчут в грязи. Пусть обливают помоями. Хотя я это беру на себя. Церини займется этим, я ему прикажу.

Обязанностью Церини было следить за каждым шагом принца и доносить подруге Адольфа Мекси. Главным образом его интересовала цирковая деятельность «Его Высочества».

Цер с удовольствием информировал Меду, всякий раз принося что-нибудь новенькое. А если не было новенького, привирал от себя.

Однажды он явился с такой широкой улыбкой, даже шрам на щеке — и тот вместе с нею расплылся.

— Ну что? Говорите, — наседала на него сжигаемая нетерпением танцовщица.

— Честное слово, можно умереть со смеху. Честное слово. Ах, этот Церини. Он все видит, все знает.

— Отвратительный болтун, скорее же, что узнали, увидели?

— А то, уважаемая мадам Фанарет, что там, кажется, будет романчик, — нараспев повторял Арон Цер.

— Где, какой романчик? Что за чепуха?

— Если он ей понравился. Него вы хотите?

— Церини, или будьте точнее, или где мой хлыст.

— Ой, зачем хлыст. Не надо хлыст. Ясно же, ясно, как шоколад. Его Высочество понравился Ее Сиятельству. Там у них есть княжна. Ничего себе блондиночка. Ее обязанность представлять королеву пластических поз. Так вот, она именно княжна. Я был за кулисами. Что, разве не имеешь права быть за кулисами? Особенно, если хорошо даешь на чай прислуге, я в этом отношении...

Договорить Церини не успел. Фанарет со свойственной ей акробатической стремитель-

ностью, почти неуловимой, схватив лежащий на каменной доске хлыст, огрела Арона с такой силой, что плечо и спину обожгло ему нестерпимо. Лицо «джентльмена» в сиреновом жакете перекосилось от злобы, но он тотчас же запрыгал с комической ужимкой.

— Больно! Вы думаете, не больно?

— Я умею еще больнее, — выразительно пообещала Фанарет. — А теперь скажите мне, когда его первый дебют?

— Что я слышу? Когда его первый дебют? Уважаемая мадам Фанарет, где вы? На луне или в Париже? Вы читали сегодняшние газеты?

— Просматривала.

— Это и видать сразу. Так все же газеты пишут про сегодняшний дебют наездника высшей школы Ренни Гварди. Это же он.

— А я и не знала. Церини, сейчас же протелеграфируйте в цирк, чтобы нам оставили барьерную ложу. Нет, лучше поезжайте сами и купите. Сию же минуту, марш.

Арон Цер не двинулся с места.

— Церини, что же вы?

— А деньги?

— Ах, деньги. Возьмите там, в сумочке, сколько надо.

Церини «взял» больше, чем надо — пять-шесть стофранковых бумажек.

3. ЦЕРИНИ НАЧИНАЕТ НЕ ВЕЗТИ

Поселившись вместе со своим принцем, сразу очутившись в лучших материальных условиях и, это самое главное, вполне свободно располагая своим временем, князь Маврос мог всецело посвятить себя тому, что ни на один миг не давало ему покоя, — розыскам похищенного колье. Да и не одного колье, а и хранившихся вместе с ним драгоценностей.

Правда, эти ценности были не Бог весть что по сравнению с бесценным колье, но все же за эти бриллианты и кое-какие еще самоцветные камни можно было выручить самое меньшее полмиллиона франков.

Даже при сильном падении франка это все же крупная сумма. Хотя, скрепя сердце, князь примирился кое-как с тем, что Язон выступает в цирке, но все же его это мучило. Маврос не сомневался, будь налицо эти пятьсот ты-

сяч франков, он, Маврос, без сомнения, столковался бы с Барбасаном, убедил бы его нарушить контракт с Ренни Гварди, хотя бы ценой уплаты двойной, тройной неустойки. Но раз денег нет, значит, и все мечты в данном направлении бесплодны.

Арон Цер получил от своего патрона задачу выкрасть кольцо, не трогая остального. Одно кольцо. Может быть, хотя сомнительно, Цер так и поступил бы, действуя он в единственном числе. Но у него был соучастник, и этот соучастник был «товарищ Замшевый», профессиональный взломщик и вор, состоявший для особых поручений при большевицком посольстве. «Замшевый» не был бы «Замшевым», если бы ограничился одним кольцом, увидев тут же, в одном пакете, несколько браслетов, колец и пару серег с бриллиантами по два с половиной карата.

И великодушно предоставляя Церу кольцо, Замшевый все остальное сунул в свой собственный карман.

Оба негодяя спешили покинуть мансарду: там было не до пререканий. Но уже на улице Цер ревниво любопытствовал:

— Товарищ Замшевый, а что же будет с этими вещами?

— Какими, товарищ?

— Это же великолепно!.. Он еще спрашивает? Которые вы положили себе в карман.

— Они там и останутся... Пока... пока я не займусь их реализацией.

— Хорошенькое дело. Я?

— Что вы?..

— Вопрос, что я? Кажется, ясно. Я хочу быть пайщиком.

— Нет, товарищ, у меня этот номер не пройдет. Колье вы имеете?

— Имею, ну так что же?

— А то, друг мой любезный, что все остальное в уговор не входило. Остальное — сюрприз. И этот сюрприз в мою пользу. Это моя законная добыча.

— Хорошенькое дело, — так выразительно протянул Цер, вот-вот, казалось, вслед за этим он свистнет. — Хорошенькое дело! Знаете, Замшевый, даже у разбойников есть своя, так сказать, товарищеская этика.

— Этика-метика. Вы мне, товарищ, непонятными словами зубов не заговаривайте.

Замшевый своего не упустит. Вы мне лучше давайте следующую мне часть гонорара.

Ненавидя сообщника и жалея себя, Цер со вздохом полез в бумажник. Этот Замшевый, чтоб ему пусто было, чтобы ему подавиться этими браслетами и кольцами, обворовал его, Арона, самым наглым, самым бессовестным образом.

А тут еще новые неприятности.

До сих пор Цер был в роли охотника за дичью. Охотник он, Арон Цер, а дичь — принц Язон и отчасти князь Маврос. Отныне Цер поменялся ролями с князем Мавросом. Отныне князь Маврос начал выслеживать его, Арона. И не только выслеживать. Он уже, пожалуй, перешел в энергичное наступление. Целью Мавроса было поймать Церу где-нибудь в уединенном месте и, употребив даже силу, вырвать сознание в краже, и это сознание использовать в интересах возврата похищенного.

Задача не из легких. Извольте в шумном многолюдном Париже улучшить момент, когда можно было бы остаться с Цером лицом к лицу без свидетелей и принудить его к полной

капитуляции.

Цер, живший теперь в Отель д'Иена, не мог выйти вечером на авеню, чтобы не столкнуться с Мавросом. До поры до времени Цера спасало первое подвернувшееся такси. Он стремглав садился в автомобиль, давая шоферу любой пришедший в голову адрес.

Дабы не очень бросаться в глаза, трусливый Цер не остановился даже перед тем, чтобы пожертвовать своим сиреневым жакетом и своим сиреневым цилиндром. Начал одеваться, как одеваются все, и носить мягкую модную шляпу. Больше: он слегка видоизменил грим, уменьшив бородку и укоротив усы. Но это не спасало его от страшного князя Мавроса.

Поистине страшного. Неумолимо вырастал он перед несчастным Цером, когда тот менее всего ожидал увидеть своего преследователя. Пытался он найти защиту и покровительство у своего господина.

— Этот проклятый адъютант не дает мне жить!

— Чем же он не дает вам жить?

— Как чем? Я похудел, я не могу столько

кушать, сколько до сих пор кушал.

— Что ж? Особенной беды я пока в этом не вижу. Другие, чтобы похудеть, отправляются в Мариенбад, а вы худеете в Париже. Вас разнесло в последнее время. Сбросите два-три кило, это вам только будет к лицу.

— Патрон смеется, а мне, честное слово...

— Церини, объясните же по-человечески: в чем дело?

— Разве я не объяснил? Он преследует меня, этот Маврос! Я выхожу из отеля, этот разбойник тут как тут. Я возвращаюсь в отель к себе, этот разбойник опять тут как тут, и какие глаза! Зверь, хищный зверь, так и готов задушить!

— Но пока не задушил?

— Благодарю вас покорно! Когда задушит, тогда будет поздно.

— Церини, бросьте молотъ вздор. Вы больны, больны манией преследования.

— Хорошая мания преследования... Не хотели ли бы вы быть на моем месте? А всему; всему виноваты, виноваты...

— Кто виноват? — приходя в раздражение, допытывался Мекси.

— Виноваты, прямо скажу, вы, патрон! Да, вы! — со смелостью маленького человечка, в отчаянии решившего идти напролом, повторял Цер. — Если бы не это колье, ничего не было бы! Никто не ходил бы за мной, как тень. Патрон, как вы мне посоветуете? Я хочу заявить в сыскную полицию.

— Что такое? Да вы окончательно с ума спятили! Мавросу только это и надо. Себя же погубите, осел вы этакий! До меня им не дотянуться, руки короткие, а вас начнут таскать и посадят в тюрьму на казенные хлеба. Эта перспектива улыбается вам?

— Ой, не хочу в тюрьму, не хочу!

— Так и молчите, и не лезьте ко мне со всяким вздором. А если вы исполнили мое приказание, вам заплачено, и крупно заплачено. И вот что я вам скажу, Церини, советую зарубить себе. Вы теряете чувство меры, становитесь назойливым и неприятным. Мое терпение лопнет, я вас выгоню и...

Цер смиренно умолкал, съезжившись побитым псом. Нет, не везло бедному Арону Церу.

4. ЦИРК, ЕГО ПОЭЗИЯ И ЕГО ДЕМОКРАТИЗМ

Язон, в бытность свою наследником дистрийской короны, мало, очень мало соприкасался с цирком. Вернее, совсем не соприкасался. Он, если и посещал цирк, то за границей. У себя же в Веоле — никогда.

Высочайшие особы дистрийского дома, как и вообще высочайшие особы всех остальных владетельных домов, были связаны этикетом, строгим, не допускающим исключений.

Принцу крови вход в цирк запрещался этим этикетом наравне со входом в театры легкого жанра, вернее, даже во все театры, за исключением королевского. И когда Язон был маленьким и его хотели развлечь, не его возили в цирк, а во дворец к нему доставляли фокусников, акробатов, жонглеров, музыкальных клоунов.

Для этих фокусников, акробатов и музыкальных клоунов работа во дворце в присутствии Его Высочества являлась целым событием. Воспоминаний об этом хватало им на

всю жизнь. И не только одних платонических воспоминаний, а и вполне реальных. Каждый из них, кроме денежного гонорара, получал еще какой-нибудь высочайший подарок: часы, портсигар, булавку для галстука, перстень, и все это — часы, портсигар, булавка и перстень — все с бриллиантовой короной.

Кочуя из города в город, из страны в страну, из одной части света в другую, артисты весьма гордились высочайшими подарками и как зеницу ока хранили эти, в сущности, скромные, знаки высочайшего внимания. Потом, приобретая имя, а вместе с именем славу и деньги, артисты за свой собственный счет обзаводились куда более ценными булавками, запонками, портсигарами. Пусть, но полученное когда-то в Веоле, в королевском дворце, навсегда оставалось для них самым ценным, самым прекрасным...

Таково уж обаяние власти, неотделимого от короны высочайшего церемониала, от права жаловать чины, титулы и звания.

Никакие богатейшие подарки всех Ротшильдов и американских миллиардеров, вместе взятых, не могли сравниться с тем, что по-

лучали эти артисты на память в скромном дворце с его бедными королями и принцами.

Отчего так, отчего? Этого нельзя понять, это можно почувствовать не умом, а сердцем.

И вот, много лет спустя, Язон увидел близко всех этих акробатов, жонглеров и клоунов не как смешивших и развлекавших его детские досуги, а как своих товарищей, братьев по совместной работе.

До сих пор он видел мимолетно и редко залитый огнями вечерний цирк с его нарядной труппой, блестящей, показной, и с такой же нарядной публикой. Теперь, сделавшись частицей этой труппы, он увидел близко — не как случайный посетитель, а как свой член семьи — другой цирк, будничный. Будничный, но вовсе не прозаический, ибо в этих серых, трудовых, и до чего еще трудовых, буднях, была своеобразная, несомненная поэзия.

Эта поэзия — мягкий, как бы сквозь матовые стекла, свет, нежно-мечтательно озаряющий сверху через маленькие окна купола и арену, и пустой амфитеатр, пустой, если не считать нескольких лож, занятых группой артистов, или не принимающих участия в репе-

тиции, или уже отработавших свое.

Эта поэзия в конюшнях с их полумраком. Плавные, красивые, мощные очертания холеных, породистых лошадей, мерно, с каким-то успокаивающим звуком жующих овес.

Эта поэзия — сердечность дружеских отношений всей труппы. Зависть, профессиональная зависть почти не свойственна цирковым артистам. Они ее не знают или знают очень мало. И то, что в драматическом театре, в опере, в фарсе, в оперетке является правилом, то в цирке не более как досадное редкое исключение.

Эта поэзия — в отношениях человека к животному.

Язон с удовольствием наблюдал, как дрессировщики и клоуны обходятся со своими кроликами, собаками, белыми мышами, морскими львами, черепахами. Эти клоуны и дрессировщики подчиняли себе животных не грубой физической силой, не чувством страха; а вдумчивой любовью, терпением, бесконечным терпением. Слов нет, педагогические методы эти значительно реже применимы к хищным зверям, но и там основано далеко не

все на ошеломляющих выстрелах, на побоях и раскаленном железе.

Одно из неперемных условий каждого контракта — дирекция требует — всякий без исключения артист перед исполнением своего номера или после него, одевшись в униформу, должен помогать прислуге во всех работах в часы спектакля. Эта «работа» — живые декоративные шпалеры. Сквозь них, зрительного эффекта ради, проходит или проезжает артист или артистка. Все должны помогать в установке или разборке сложных акробатических снарядов. То же самое, когда воздвигается или разбирается гигантская железная клетка вокруг манежа. Клетка, внутри которой дает представление с хищниками своими укротитель.

Этот параграф, обязательный как для больших столичных цирков, так и для бродячих, имеет несомненное воспитательное значение.

Гвидо Барбасан так пояснял это:

— Мы — цирковая семья, мы — несомненные аристократы, ибо наше «метъэ» требует знаний, знаний и знаний, работы, работы и

работы. Маленький актерик может быть и невежественным, неученым, но даже третьестепенный цирковой артист должен кое-что знать и уметь, и это «кое-что» усваивается работой многих лет. Итак, мы аристократы, но мы в то же время демократичны, в благородном значении этого слова, демократичны, как, пожалуй, никакая другая из артистических семей. Наши цирковые знаменитости никогда не презирают, внешне по крайней мере, маленьких скромных работников манежа. Этому немало способствует, во-первых, опасность, физическая опасность, подстерегающая почти на каждом шагу людей нашей профессии, а затем, затем прекрасный, имеющий глубокий смысл параграф о взаимопомощи, когда какой-нибудь баловень, кумир толпы, вроде нашего красавца Фуэго, вместе со вторым клоуном, вся обязанность которого смешно и нелепо кувыркаться, одетые в одинаковую форму, вместе дружно подтягивают к потолку систему трапеций или убирают с манежа дощатый помост, на котором исполнялся балетный номер. И поэтому в нашем общежитии нет людей высшей касты и нет

париев. Совсем другое — в театрах. В глазах какого-нибудь первого любовника исполняющий маленькие роли артист — не человек даже. Любовник не только не подает ему руки, он его даже не замечает, хотя бы они и служили десятки лет вместе. То же самое и в опере, где примадонна, ежедневно сталкиваясь с хористками, не видит их, просто-напросто не видит.

У старого Гвидо слово не расходилось с делом. Он был одинаково вежлив со всеми членами своей семьи и для серых маленьких работников своего цирка всегда находил и ласку, и хорошее слово.

Перед тем, как подписать контракт с персидским принцем Каджаром, он сделал оговорку:

— Но, знаете, Ваша Светлость, до исполнения вашего блестящего номера и после него вы будете обязаны помогать в простой физической работе всем остальным. Эта работа сложна и требует большого количества рук. Хотя вы и принц крови, но раз вы артист цирковой труппы, я не могу поставить вас в исключительные условия.

Фазулла-Мирза с подкупающей добротой людей Востока улыбнулся в свои густые черные усы, которых, не следуя моде, ни за что не хотел подстригать:

— Полноте, господин директор, может ли быть иначе? Я сам воспротивился бы, вздумай вы сделать для меня исключение. Мне стыдно было бы в глаза смотреть моим, моим... но как это выразить, моим сослуживцам, что ли? Я умышленно избегаю выражения «товарищам», это слово так опошлено, так опоганено революцией, что приобрело теперь самый оскорбительный, самый бранный смысл...

Такое же предупреждение было и по адресу наездника высшей школы Ренни Гварди. Под этим псевдонимом Барбасан тотчас же угадал человека тонкой расы и белой кости. И Ренни Гварди ответил в несколько иной форме, но то же, что и Фазулла-Мирза.

И они вместе, плечо к плечу, бывший дистрикционный престолонаследник и потомок древней персидской династии, в вицмундирах, в белых рейтузах и лакированных ботфортах делали то же самое, что и все осталь-

ные. И ни разу ни один, ни другой не испытали чувства, называемого «ложным стыдом». Самое большое — это если каждый в глубине души с горечью вспоминал недавнее прошлое, когда вместо цирковой униформы носил иные, совсем иные мундиры...

Особенно много в этом недавнем прошлом было мундиров у Язона. Помимо общегенеральской, пехотной, морской, артиллерийской, кавалерийской формы, он в известном случае надевал еще мундиры тех полков, — и своих дистрийских, и чужеземных, — коих был шефом.

Куда все это девалось? И мундиры, и шефство? Все погибло. Хотя мундиры, пожалуй, не погибли. После того, как был разграблен дворец, во всем этом великолепии, наверное, щеголяли, да и теперь щеголяют, какие-нибудь комиссары: каторжники в прошлом, а в настоящем — военные сановники республиканской Дистрии. Так было в России, так было в Венгрии в течение трехмесячного большевизма, и почему же должна быть исключением Дистрия?

5. ОЖИДАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

На двух репетициях сошло гладко, даже более чем гладко, но репетиция днем, в присутствии нескольких человек — это не вечерний спектакль на глазах тысячной толпы.

Язон волновался перед своим дебютом, мучительно допытываясь у самого себя, сойдут ли все гладко и оправдает ли он оптимистические радужные упования Барбасана?

Но куда острее, чем он сам, волновался за него князь Маврос. Этот, хотя и знал лучше всех других, какой наездник принц, его принц, но был настроен менее оптимистически, чем старый Гвидо. Ему, Мавросу, чудились всякие ужасы, до конфуза и провала включительно. Психологически это понятно. Принц был его божеством, как божеством является для матери дочь — талантливая певица или музыкантша. И какая же мать не волнуется смертельно перед первым, да и не только перед первым, а перед каждым публичным выступлением своей дочери? Дочери ли, сына ли, одинаково трепещет и бьется ма-

теринское сердце. Так было и с Мавросом. И у него трепетало и билось сердце. Но его переживание было еще запутаннее и сложнее. Он волновался бы гораздо менее, будь это дорогой и близкий ему обыкновенный смертный. Но все усложнялось тем, что это не обыкновенный смертный, а принц, и хотя пока парижские газеты молчат, но ни для кого не останется же тайной, что наездник высшей школы Ренни Гварди не кто иной, как разоренный революцией престолонаследник Дистрии.

С ужасом думал Маврос: а что если во время дебюта раздастся какой-нибудь иронический возглас, последует какая-нибудь оскорбительная плоская шутка? И то, и другое весьма возможно. К тому же Маврос ни на один миг не сомневался, что и Мекси, и Медея, несомненно, украсят собою одну из лож... А если будут они, почему не быть их клакерам, готовым на какие угодно выходки, раз это будет щедро оплачено, хотя бы тем же Церини? Сам Церини, пожалуй, не дерзнет показаться в цирке, так за последнее время терроризировал его Маврос. Но что такое Церини?

В амфитеатре могут оказаться десятки других таких же негодяев, о которых он, Маврос, и понятия не имеет.

Маврос не ошибся. Цер, хотя и жаждал увидеть первый выход Язона, а главное, увидеть, как он будет посрамлен, — соблазн был так велик! — не рискнул, однако, явиться в цирк, убежденный, что этот страшный Маврос сделает ему какую-нибудь очередную пакость.

Но это не мешало Церу держаться поблизости, с афишей в руках. Он отмечал карандашом исполненные номера, чтобы все время оставаться в курсе программы и вернее чувствовать приближение дебюта наездника высшей школы.

Живой связью между вестибюлем цирка и личным секретарем Адольфа Мекси был какой-то юный апаш, за пять франков извещавший Церини о ходе спектакля. Церини принимал своего вестника в соседнем кафе и карандашом в дрожащих пальцах зачеркивал то, что уже оставалось позади.

Любопытна в данном случае психология бывшего героя конских ярмарок в местечках

Юго-Западного края. Лично ему принц не сделал ничего дурного, и вообще до самых последних дней Язон и понятия не имел, что какой-то Арон Цер существует в природе. И, однако же, этот самый Арон Цер ненавидел Язона, с наслаждением выкрал у него знаменитое кольцо и сейчас готов был накинуть еще пять франков юному апашу, если этот юный апаш прибежит и донесет ему, что Ренни Гварди освистан.

Нельзя было это истолковать и собачьей преданностью Адольфу Мекси. Он, мол, Церини, как верный пес, готов вцепиться зубами во всякого, кто неприятен его шефу. Предан был Цер постольку, поскольку дистрийский волшебник оплачивал и держал его при своей особе. Но если бы Мекси выгнал его или разорился бы вдруг, от «собачьей» преданности Цера и следа не осталось бы. Нет, его чувство было другое. Подленькая, тупая ненависть, ненависть плебея к человеку высшей породы и так называемой голубой крови. Цер не мог не сознавать, сделайся он, Арон, таким же миллиардером, как и Мекси, ему никогда не сравняться с этим принцем, изгнанным,

обедневшим, вынужденным поступить в цирк. Никогда! И это сознание еще больше разжигало низкую, насыщенную злобой страсть человека со шрамом.

Не ошибся Маврос, — да и мудро было ошибиться, — что Мекси с Медеей будут красоваться в одной из барьерных лож. Хотя они и сильно опоздали к началу, но до Ренни Гварди было еще несколько номеров. Сжигаемая нетерпением, Фанарет не могла усидеть, а Мекси барабанил пальцем по набалдашнику своей трости. Ложа в момент их появления приковала всеобщее внимание. Их лорнировали, на них наводились бинокли. Нарядная публика первых рядов знала: это дистрийский волшебник со своей подругой, и не какой-нибудь звездочкой полусвета, а Медеей Фанарет, несравненной исполнительницей восточных танцев. Ее экзотическая красота затмевалась ее чудовищными бриллиантами. Они ослепляли, ослепляли в буквальном значении. Больно глазам было смотреть на это волшебное сверкание, увы, самой Фанарет не доставлявшее никакой радости. Все эти горевшие на ней миллионы с удовольствием отда-

ла бы за право появиться в колье из скарабеев.

Не ошибся Маврос еще и в том: должна быть враждебная клака. Добрый десяток молодцов, сделавших ремесло из своих ладоней, своего шиканья и свиста, рассажены в одиночку в нескольких местах.

Выход Ренни Гварди обставлен был помпезно... Не ограничиваясь шпалерами «униформы», Барбасан, дабы подчеркнуть исключительность номера, сам, строгий, величавый, во фраке, в цилиндре, в белых перчатках и с берейторским бичом, стоял впереди расшитых галунами «шпалер». И сквозь этот пышный строй медленным шагом выехал на манеж Ренни Гварди. И получилось впечатление, на которое так рассчитывал опытный, умеющий подать товар лицом Барбасан. Впечатление наездника-джентльмена, совсем не думающего о том, что выступает публично. Нет. Он сам по себе, никого не видит, не замечает.

И главное в том: публика сразу почувствовала это, именно это — какую-то особенную благородную независимость всадника. Если

он не замечал этих сгустившихся в амфитеатре мужчин и женщин, то, в свою очередь, они проглядели в нем артиста, обязанного дать им несколько минут красивого зрелища. Зрелища за плату. И если б ее, всю эту публику, спросить, почему же это именно так, немногие дали бы определенный ответ. Слишком неясна, неуловима, тонка была грань между лучшим, профессиональным наездником высшей школы и этим принцем, наездником по воле судьбы. Ее, эту грань, все почувствовали, но не могли ее оформить.

И Медея, и Мекси, предубежденные, вместе с собой принесшие злобу и месть, невольно поддавались общему настроению.

Медея, с ужасом это чувствуя, с тревогой окидывала взглядом верхние ряды, словно торопя клаку выступить со своим шиканьем и свистом. Что это? Неужели одним своим видом «высочайший» всадник загипнотизировал этих продажных каналов?

Так или нет, но знаменателен был единственный робкий и жалкий свист, потнувший в такой овации и таких рукоплесканиях, что всякий, кто осмелился бы пойти

против стихии, — так это было стихийно, — рисковал своими боками и своей шеей. А кому охота рисковать и тем, и другим, даже за деньги?..

Составлявший одно целое, неотделимо гармоничное, со своей лошадью, и застывший вместе с ней, как конное изваяние, Ренни Гварди, не улыбаясь и не кланяясь, как на его месте сделал бы всякий другой, с непроницаемым спокойствием ожидал, когда стихнут овации.

Эту маску непроницаемого спокойствия Язон, по натуре своей горячий и пылкий, выработал с юных лет. Каждый человек должен владеть собой. Каждый, но принц, да еще наследный, должен постичь в совершенстве эту науку. В дипломатической беседе, на параде войск, на торжественном приеме во дворце — он должен быть всегда начеку и помнить то, чего он не должен ни на один миг забывать. Эта маска, меняющаяся в зависимости от того, что надо выразить в данный момент, вернее, что в данный момент необходимо скрыть от десятков, сотен и тысяч устремленных глаз или, наоборот, подчеркнуть. И потому, что с

малых лет Язон привык быть на виду, привык быть центром внимания, вынужденный играть, как играют артисты, потому в момент выхода своего он не только не утратил самообладания, а был прямо царственно великолепен.

О его предшественнике, поскользнувшемся на апельсиновой корке, с восхищением говорили:

— Ах, как на нем сидит фрак!

О Ренни Гварди нельзя было так сказать, ибо он был выше этого. Фрак не чувствовался на нем, так как был частицей его самого. Было общее, и не было подробностей. И это общее покорило, подчинило. Оно-то и вызвало оглушительные рукоплескания, хотя пока, в сущности, и не за что было рукоплескать новому артисту, никогда еще ни перед кем не выступавшему.

Лишнее вдаваться в то, как под тихую мелодию штраусовского вальса Ренни Гварди шагом объехал манеж и как показал несколько номеров высшей школы. Все это было изящно, безукоризненно, легко и барственно красиво. Но если б даже это не было вполне

совершенно, он, этот всадник с удлинненным овалом лица, так обаятельно сочетавшего Восток с Западом, уже овладел публикой и мог сделать с ней все, что угодно. Завидное преимущество всех кумиров.

Да, в несколько секунд, секунд первого зрительного впечатления, он уже стал кумиром.

Для Мекси и Медеи это равнялось поражению. Они шли на провал, так мучительно хотели его, а между тем были свидетелями триумфа. И какого триумфа! Бульдожье лицо Мекси стало совсем бульдожьим. Он до того забылся, что начал грызть набалдашник трости. Фанарет со всего размаха рукой в перчатке так ударила по трости, что набалдашник едва не высадил несколько передних зубов Адольфу Мекси. Сама Фанарет из смуглой стала бледной-бледной. Губы кривились... Больше всего не могла простить Язону того, на что весьма рассчитывала. А расчет был таков: он заметит ее, заметит ее насмешливую улыбку и смутится, растеряется, уничтоженный. На самом деле Ренни Гварди не заметил ее, да и не только ее, не заметил и друзей, счастли-

вых его удачей, его успехом. Не заметил ни сидевшего в первом ряду Мавроса, ни принца Каджара, ни Фуэго, ни Барбасана, ни Заур-Бека. А все они: и Маврос, и Барбасан, и Фуэго, и Каджар, и Заур-Бек — все, каждый по-своему, переволновались, чтобы тотчас же, когда определилась победа, очутиться на седьмом небе от радости.

Что же касается Ренни Гварди, он как-то странно пережил свой дебют. Вначале, да и все время на манеже, не волновался нисколько, словно взял и себя, и свою волю в железные тиски. И только очутившись за кулисами, когда берейтор помог ему сойти с лошади, только тогда волнение охватило его, сорвав с лица бесстрастную маску.

Все поздравления, пожатия руки, возгласы — все это смягченное, заглушённое проходило, как в тумане. И блаженные лица друзей проступали сквозь этот туман неопределенно, нечетко. Они были какие-то полужнакомые, получужие. Например, лишь позже мог он с трудом вспомнить, что Маврос, забывшись, где он, поцеловал у него руку:

— Ваше Величество, ах, Ваше Величество!..

Затем какие-то юркие господа, атаковав Ренни Гварди, пытались оттеснить друзей и, по-видимому, не без успеха. Эти юркие господа оказались репортерами бульварной, падкой до сенсации прессы.

Видя, что наезднику высшей школы не до интервью, Барбасан, сделав героическое усилие, увлек репортеров в свой кабинет и дал им те сведения, которых они домогались, но которые прошли через цензуру его, Гвидо Барбасана.

Медея Фанарет, как разъяренная пантера, покинула цирк. Бешенство две-три минуты не давало ей говорить. И только сев в автомобиль, обрушилась на Мекси:

— Видели? Видели? Что стоит ваша дурацкая клака? Его встретили, как полубога. Я, слышите, не помню таких оваций. А мы с вами думали увидеть его раздавленным, униженным. Но пусть он не думает, что борьба кончилась. Нет, и тысячу раз нет! Борьба только начинается. Слышите, Адольф?

— Слышу...

— Слышу, слышу! — передразнила Медея. — Этого мало. Надо помочь мне. Помочь.

Я буду его преследовать и в конце концов добьюсь... Мы пустим в ход все. Интрига, подкуп. Да, подкуп, хотя бы пришлось купить весь цирк вместе с этим старым идиотом Барбасаном. Нет, я не могу, не могу, я задыхаюсь! Задыхаюсь! — и обезумевшая Фанарет начала рвать на себе платье, сорвала колье, готовая вырвать из ушей вместе с мясом бриллиантовые серьги, предмет изумления и зависти женщин, лорнировавших ее в цирке.

— Успокойтесь, успокойтесь! — растерянно шептал Мекси, испуганный этим порывом.

6. КЛОУН БЕНЕДЕТТИ

Прима-клоун Тоскано выбыл из строя. Навсегда ли, на время ли — неизвестно, а только его свезли в сумасшедший дом.

Началось это тихой меланхолией, перешло в острую меланхолию и кончилось безумием.

Странно, что люди, ремесло которых — смешить: клоуны, опереточные и фарсовые комики — в большинстве случаев в частной жизни бывают мрачными людьми.

Так и бедняга Тоскано.

Барбасан весьма огорчился. Он ценил

свихнувшегося клоуна, но все же ему, старому Гвидо, а не кому другому, принадлежала фраза:

— Незаменимых артистов и вообще незаменимых людей — нет!..

И если талантливый Тоскано угодил в дом умалишенных, из этого вовсе не следовало, чтобы вакансия прима-клоуна оставалась вакантной.

Барбасан по телеграфу заключил контракт с Бенедетти, и сорокалетний Бенедетти, гостивший у своих почтенных родителей где-то под Миланом, может быть, в Белиндоне, а может быть, и в Киассо, мигом прикатил в Париж, веселый в жизни, едва ли не веселей, чем перед публикой. Бенедетти не принадлежал к числу клоунов-меланхоликов. Что было красивого в маленьком моложавом Бенедетти — это его волосы, курчавые, густые, цвета золоченной сквозь огонь бронзы. Читатель потребует, может быть, более точного объяснения с вполне резонной оговоркой: золоченная сквозь огонь бронза, — это расплывчато и неубедительно. Тогда нам остается сказать, что Бенедетти был рыжий, но, сохрани Бог, не

вульгарно-рыжий, а скорее уж аристократически-рыжий. Да, ибо есть разница. Вульгарно-рыжий — это голова, как пылающий факел. Совсем по-иному описал Тициан своих рыжих догаресс, адмиралов и сенаторов. Темноватое, благородное, темное, напоминающее цветом рюмку со старой мадерой, было в волосах этих рыжих догаресс, сенаторов и адмиралов.

Бенедетти, никогда не претендовавший на столь знатных предков, был, однако, не вульгарно-рыжий, а аристократически-рыжий.

Кроме необыкновенных волос, остальное самое обыкновенное. Черты лица мелкие, не запоминающиеся, но Бенедетти превосходно владел ими. Он мог собрать лицо свое в комочек и с такой же легкостью растянуть в неотразимой, вызывающей спазму и колики, несравненной, непревзойденной гримасе.

Но не трагедия ли разве: эти самые зрители, хохотавшие до слез даже тогда, когда клоун только появлялся, храня относительную неподвижность своих густо загримированных черт, эти самые зрители никогда не могли увидеть его волос и полюбоваться ими.

Эти волосы всегда были скрыты под нелепейшим париком или под высоким войлочным конусом, чаще же всего и под тем, и под другим вместе.

Бенедетти не был даже исключительно остроумен. Он брал не этим, а тем, что был подкупающе симпатичен. Это одно. Другое — его богатейшая мимика. В молодости он был одним из первых гимнастов-прыгунов. Оттолкнувшись от трамплина, он описывал дугу над двенадцатью лошадьми и над целым взводом солдат, оцетинившихся вверх штыками своих винтовок. Но что лошади и солдаты? Он прыгал через двух слонов и, перевернувшись несколько раз в воздухе, распруживался, попадая на третьего слона поменьше.

Расцвет славы Бенедетти связан был с Петербургом. Девять зимних сезонов проработал он у Чинизелли, имея такой успех у женщин, какой не снился, пожалуй, никогда ни одному из опереточных баритонов.

К сорока годам Бенедетти не отяжелел, нет, он оставался таким же ловким, стройным, только что его кости понемногу утрачи-

вали гибкость и эластичность молодости. Теперь он уже не мог, сжавшись в клубок и почти касаясь коленями подбородка, дважды перекувырнуться над двумя слонами и очутиться на третьем, как на земле, и с улыбкой развести обеими руками.

Да, теперь эти коронные трюки ему уже не под силу. Кости костями, но необходима неусыпная тренировка. А какая же тренировка со слабеющим сердцем? И в один, скорее не прекрасный, чем прекрасный для него день, Бенедетти сказал:

— Баста! Я больше не прыгун. Я буду ходить пешком, буду говорить и музицировать.

Другими словами, он добровольно превращался в говорящего и музыкального клоуна. А играл Бенедетти с виртуозной легкостью на двадцати двух инструментах, не включая сюда концертов на стаканах и на колокольчиках. Он, одинаково шутя, одинаково чаруя слух зрителя, играл и на гигантском контрабасе, и на крохотной костяной дудочке восточных заклинателей змей. На глазах публики он брал доску от ящика, укреплял на ней две струны и из этого более чем примитивно-

го инструмента извлекал неаполитанскую канцонетту или же какой-нибудь вальс Штрауса. За последнее время, чтобы не отстать от века, — аргентинское танго и фокс-трот.

Мудрено ли, что после того, как он дал отставку лошадям, слонам и солдатам со штыками, он все же был и выигрышным, и ценным, и желанным пятном на арене. Иначе старый Гвидо не выписал бы его с такой поспешностью.

Здесь, в Париже, под куполом цирка, Бенедетти встретился с теми, с кем уже не раз встречался в скитаниях своих по белу свету. Какие звонкие поцелуи, сколько шумной радости! Сколько нахлынувших воспоминаний! С одними встречался совсем еще недавно, других не видел Бог весть с какой поры.

Особенно сердечна была встреча Бенедетти с Фуэго. Последний раз они работали у Чинизелли в Петербурге десять лет назад. Фуэго, совсем молодым человеком, только-только начинал свою карьеру. И тогда же они вместе придумали один трюк, имевший успех.

Фуэго, не ограничиваясь наездничеством

лихого бесстрашного ковбоя, показывал еще упражнение с лассо. Галопом объезжая круг, он творил чудеса с обыкновенной веревкой. Наперекор всяким физическим и техническим законам, Фуэго заставлял чудодейственное свое лассо то свиваться вертикально, то описывать спирали и в виде широких концентричных кругов, и в виде винта, и в виде штопоров для откупоривания.

Простым глазом нельзя было уследить за этим безумно-стремительным мельканием. В руке ковбоя веревка превращалась и в негнувшийся железный стержень, и в стальную пружину, и еще во что-то, не поддающееся описанию, но в любой момент застывающее в воздухе в той форме, какую хотел Фуэго придать своей веревке с петлей на конце.

Трудно сказать, кто кого затмевал в этом человеке. Наездник или метатель лассо? Вернее, и тот, и другой были достойными равными соперниками. Тогда, в Петербурге, юный ковбой попросил знаменитого клоуна высказаться:

— Маэстро Бенедетти, как отец сыну, как старший брат младшему — ваше мнение?

— Относительно чего, дружок?

— Да вот, относительно лассо. У вас опытный глаз. Чисто ли я работаю? Нет ли каких-либо шероховатостей?

— Милый мой мальчик, или ты очень лукав, или, наоборот, наивен. Я склонен думать последнее. Ты еще колеблешься, проверяешь себя. Пусть! Это очень хорошо! Это показывает мне, что ты не самодовольный пошляк, а ищущий артист. Ты себе цены не знаешь! Ты не работаешь, ты творишь, творишь, как молодой бог! Веревка оживает в твоих пальцах. Твои спирали вдохновенны. Ни одна из них не похожа на другую. Ты ищешь, ищешь и находишь, не удовлетворяясь шаблоном. Но, мой мальчик, ты даешь мне право с такой же искренностью высказаться до конца?

— Маэстро, умоляю вас! Ради Бога!

— Ну, так вот что я тебе скажу, я, старый балаганщик, изучивший вкусы публики. Твоя работа слишком ювелирна, тонка. Все это ценят любители-спортсмены, гвардейцы, толпа же требует действия, анекдота, борьбы. Требуется живой иллюстрации. Понимаешь?

— Начинаю понимать, маэстро.

— Хочешь, я тебе помогу? Это будет эффектный трюк. Твой успех — он, по крайней мере, увеличится раз в двадцать. Мы это будем подносить уже в конце, на десерт, после твоих воздушных эволюции с волшебной веревкой. Клоун Бенедетти заезжает где-нибудь у барьера, уставившись вверх в купол, как астроном в звездные небеса. В этот самый момент, промчавшись мимо, ты захлестнешь меня петлей своего лассо и сделаешь один-два круга вместе со мной. Правда, ты будешь мчаться в седле, а на песке будет оставаться след моей спины и всего прочего, но это пустяк, пустяк, о котором... Словом, вся эта комбинация улыбается тебе, мой дружок?

Фуэго от волнения и восторга с минуту ничего не мог вымолвить:

— Маэстро, я... я... Это для меня такое... Но разве я вами посмею воспользоваться? — и в больших южных глазах ковбоя Бенедетти читал и мольбу, и восторг, и счастье.

— Посмеешь, дружок, посмеешь! Ты не думай, что я забочусь только о тебе. О нет, надо знать хорошо эту хитрую лисицу Бенедетти. Она и о себе подумала. Я сумею разыграть

этот маленький скетч, и не сердись, дружок, аплодисменты будут не только по твоему адресу...

На первой же дневной репетиции Бенедетти и Фуэго потренировались. Возникло сначала разногласие. Фуэго настаивал:

— Я охватываю вас петлей вокруг туловища. Это безопаснее.

Бенедетти протестовал:

— Дружок, это процентов на восемьдесят испортит нам всю музыку. Необходимо дать полную иллюзию человека с петлей на шее.

— Я не решусь... Когда я буду тащить вас по арене, петля затянется и... Святая Мадонна!..

— А ты попробуй решиться. Бенедетти во все уже не так глуп! В то самое мгновение, когда веревочное кольцо обовьется вокруг его шеи, он зажмет рукой петлю и не даст ей затянуться. Да что мы будем терять время в академических спорах. К делу. Скажи оседлать коня...

Эффект превзошел все ожидания. Исполнители — каждый оказался на высоте. Петля, брошенная ловкой, сильной рукой, как жи-

вая, одухотворенная, достигала Бенедетти и его шеи. Сам же Бенедетти во время всего трюка неизменно проявлял и акробатическую гибкость, и комизм, комизм без конца. И ковбоя, и его жертву вызывали несметное количество раз. Охотники до таких зрелищ требовали даже повторения.

Бенедетти был прав. Он сделал Фуэго более интересным для публики, но и себя не забыл. Хотя справедливость требует подчеркнуть: когда клоуна осенил этот выигрышный трюк, он думал прежде всего об успехе Фуэго.

Вспыхнула революция. Эффектный номер с лассо волей-неволей пришлось оставить. Какие-то лохматые грязные товарищи, вскакивая, возмущались:

— Это развлечение для буржуев! Мы не позволим, не допустим этого безобразия! На потеху господам унижается достоинство свободного человека. Товарищи, человека на веревке тащат, как последнюю собаку. Товарищи, долой гнусное, безобразное зрелище!

— Долой, — эхом повторяло двуногое баранье стадо. А Бенедетти бесился в уборной и за кулисами.

— Болваны, идиоты, кретины, мерзавцы! Они, они смеют говорить о человеческом достоинстве? Да в моем мизинце больше его, чем у всей этой сволочи, вместе взятой.

Но эта «сволочь» была у власти и грозила Чинизелли арестом, если он допустит хоть раз то, что революционная демократия запретила как унижение права свободного человека.

7. ТРЮК С ЧЕЛОВЕКОМ И ЛАССО

Хотя и в Париже было много такой же «сволочи», но эта парижская «сволочь» была еще не настолько у власти, чтобы снимать с цирковой программы те или другие не понравившиеся номера. А посему Бенедетти и Фуэго, после многих лет разлуки, ко взаимному удовольствию, к еще большему удовольствию посетителей цирка, возобновили свой трюк с лассо.

Это имело громадный успех не только у занимавшего верхи плебса, но и у сидевшей внизу аристократии.

Мекси каждый вечер, как на службу, являлся в цирк вместе с Медеей в свою оплачен-

ную за месяц вперед ложу. Давно ли дистрийский волшебник высказывал Медее, что ее ненависть в Язону, желание его преследовать, все это он, Адольф Мекси, находит чем-то болезненным, едва ли не маниакальным. А спустя несколько дней Мекси мог бы сказать то же самое и про себя.

И его тянуло в цирк, тянуло исключительно ради Язона. Видеть, как бывший наследный принц Дистрии показывает высшую школу езды, стало необходимостью для Мекси.

Развалясь в ложе, он как-то сказал Медее со своей улыбкой бульдога:

— Я и он! Каждый вечер всего несколько шагов разделяет нас. Я его лишил трона, лишил всего и вот за деньги, как и всякий, могу смотреть, как он публично кривляется. Ведь это, в сущности, кривляние. За собственные деньги я могу выражать свое удовольствие и неудовольствие. Если бы я даже запустил в него помидором, ничего не было бы мне, хотя он и принц крови. А год назад, не скрою, я с удовольствием поехал бы к нему на обед или завтрак, вздумай он меня пригласить...

Одно злило, и еще как злило, Мекси. Самое главное из предвкушений не оправдалось. Это горячее желание видеть принца униженным, смешным, вызывающим оскорбительную для него жалость. И как ни жаждал этого Мекси, как ни был пристрастен, все же не мог не сознаться:

— Нет, черт возьми, что-то в нем такое есть! Это самое «что-то такое» делает его и на арене принцем крови.

— Может быть, — плечами поводи́ла Фанарет, — может быть, но мы ему посбавим спеси! Я знаю, что такое клака. Сама для себя нанимала. Те, что нанял Церини, те трусы и никуда не годятся. Есть клакеры отчаянные, опасные апаши и бандиты, — тех ничем не испугаешь!..

Цер пытался войти в соглашение именно с этого сорта клакой, но даже эти бандитско-апашеские типы, наемные убийцы, убийцы артистических репутаций, даже они отказались.

— Шутите ли вы, что ли, почтеннейший! Да публика начнет нас избивать чем попало! Нет, подальше от этого Ренни Гварди. Околдо-

вал он всех... Попробуй только поднести к губам свисток или два пальца, соседи сейчас же начнут ломать на твоей голове свои трости и зонтики. Мерси боку. Себе дорожке стоит!..

Итак, на клакеров — надежды никакой. Оставалось терпеливо ждать: время, случай и фантазия могут прийти на помощь. Могут, должны прийти!..

Желая всячески портить Язону, Фанарет и Мекси делали ему только рекламу. Чем не реклама? Один из первых богачей в Европе, известный всему Парижу, с содержанкой своей, еще более известной, каждый вечер приезжают к номеру наездника высшей школы и, едва он выступил, тотчас же покидают цирк. Все это порождало какие-то интригующие догадки, романтические сплетни и слегка в затушеванном виде попадало на столбцы бульварных газет.

Случилось однажды, Мекси и Фанарет появились в своей ложе минут на пятнадцать раньше обыкновенного.

До Ренни Гварди они увидели два номера. Первый — ковбоя Фуэго, другой — метателя ножей.

Прима-клоун Бенедетти уже работал у Барбасана.

Под гром аплодисментов и восторженных криков повторял Бенедетти с Фуэго коронную свою выдумку.

Вначале Мекси хранил скучающий вид. Фуэго ничуть не трогал его, не восхищал ни своей головоломной ездой, ни своим виртуозным искусством придавать веревке самые невозможные формы и положения в воздухе. Но когда эта веревка, с поразительной меткостью закинута на шею клоуну, повалила его и повлекла за мчавшимся всадником, скучающей мины как не бывало.

Пухлое широкое лицо Адольфа Мекси расплылось в довольную улыбку. Нет, в самом деле, это забавно — как смешно трепыхается этот волочащийся по арене клоун, оставляя широкую песчаную борозду.

Знал Бенедетти, на каких надо инстинктах играть, чтобы трюк нравился всем. И какому-нибудь апашу с преступной челюстью, и подкрашенной демимондеке, и спокойному, ровному, как часовой механизм, буржуа, и банкиру, с одинаковой ловкостью жонглиру-

ощему и чужим горем, и чужими миллионами.

Трюк с человеком и лассо, будя жажду сильных ощущений, будил также и зверя. И, если и не все зрители, то, по крайней мере, многие жалели в глубине души, отчего этот клоун, после двух-трех кругов отпущенный, наконец, ковбоем, поднимается и снимает с шеи петлю и почему не уносят его с высунутым языком, посиневшего сквозь густой грим?

Бенедетти угадывал затаенное желание этих «многих». Он говорил в своей цирковой семье:

— Если бы только не вмешалась полиция, можно было как-нибудь при случае выкинуть номер, притвориться задушенным и дать себя унести за кулисы. Я уверен, пятьдесят процентов публики, с удовольствием смакуя каждую мелочь, описывали бы смерть клоуна, очевидцами которой они были. И какая дрянь человек! Бог ты мой, какая дрянь! Зверь лучше. Сытый зверь никогда не будет забавляться зрелищем чужих страданий, чужой смерти.

В тот же самый вечер Мекси, ужиная с Фанарет, вспомнил:

— А ведь забавно придумано.

— Что?

— Да это. Клоун и ковбой. Опасная штука. Право, кончится когда-нибудь трагически. Петля затянется и...

— И вы не прочь были бы посмотреть, как этот клоун в предсмертных корчах тащится на веревке за лошадью?

Мекси не сразу ответил. Он сначала прожевал и проглотил кусочек какой-то рыбы с каким-то соусом, затем снял пенсне и протер стекла, и только затем ответил:

— Что ж? Раз этому суждено когда-нибудь случиться, то я хотел бы, пусть это будет на моих глазах. Лишнее щекотание нервов никогда не мешает...

Медея молчала. Ее молчание, ее черты лица хранили на этот раз какую-то недоговоренность. И Мекси не мог прочесть, одобряет ли эта женщина или порицает? Впрочем, это его совсем не интересовало. Он поманил лакея небрежным кивком и приказал ему наполнить бокалы старым и поэтому очень доро-

8. ПО СЛЕДАМ НЕНАВИСТИ

Сплошь да рядом бывает в жизни: люди собираются сделать что-нибудь хорошее или дурное. Собираются, частью откладывая, — успеется, мол, частью потому, что задуманное не удалось осуществить по тем или другим причинам.

И вдруг, глядишь, обстоятельства резко меняются. Настолько резко, что задуманное уже неисполнимо, на худший конец, на лучший — едва-едва исполнимо.

В таком положении очутились Медея и Мекси, узнав — вестником был, конечно, всезнающий Арон Цер, — что цирк Барбасана доживает последние свои дни в Париже.

Цер именно так и заявил:

— Да, да, это их последние, можно сказать, денечки.

— Почему? — спросила Медея.

— Как почему? Что значит почему? И кто спрашивает? Мадам Медея, которая знает лучше меня. Что я такое в Париже? Провинциал. И даже этот провинциал знает, что на-

чинается saison mort [7]. Еще неделька, и в Париже никого не будет, кроме англичан и американцев. Так Барбасан же не дурак, ему совсем не нужен мертвый сезон. Он складывается и уезжает.

— Куда, Церини, куда?

— Я еще не узнал, но только сегодня же на верное узнаю.

— Смотрите же! Иначе не смей показываться мне на глаза.

Арон исчез.

Медея закатила Мекси очередную сцену.

— Вот видите? Дождались! Не угодно ли? Весь этот барбасановский балаган уезжает. И принц вместе с ними. Понимаете, принц! Принц тоже!..

— Ничего удивительного. Вернее, удивительно, что они засиделись в Париже. Здесь уже нечего делать. Начинается мертвый сезон.

— Надоели вы с этим мертвым сезоном! Сначала Церини, потом вы. Сама знаю! Не в этом дело, а в том, что Язон от нас ускользает. Слышите, ускользает! А мы со дня на день собирались учинить ему какую-нибудь пакость,

да так и прособирались. И все ваша дурацкая медлительность виновата!

— Почему же моя?

— Да потому, что вы мужчина. И отдать вам справедливость, какой-то нелепый мужчина. Сделать революцию, на это хватило вас, а щелкнуть по носу этого экс-принца, на это вас не хватает... Где же ваша изобретательность?

— Она при мне, но только я не думал...

— Чего? Что они уедут? Сами же только что сказали: мертвый сезон, и делать им здесь больше нечего.

— Как же быть? — смиренно вопрошал Мекси.

— Очень просто. Ехать вслед за ними.

— Куда?

— Сама еще не знаю, куда. Поручила Церини узнать. Все равно, куда бы их не понесла нелегкая, на Мадагаскар, Цейлон, мы все равно поедем за ним.

— Поедем, — согласился оживившийся дистрийский волшебник. Он сам входил во вкус этой борьбы, этой погони, этой скачки с препятствиями. Язон Язоном, месть местью,

преследование преследованием, но, кроме всего этого, Мекси сам себе не хотел сознаться, что для него уже обратилось в привычку смотреть, как галопирующий Фуэго волочит за собой на лассо клоуна Бенедетти. Лишиться этого зрелища, право, не хотелось. К тому же оставаться в Париже глухим летом, когда все порядочные люди разбегаются, было бы дурным тоном. А дистрийский волшебник весьма избегал впадать в дурной тон.

Подоспел Арон Цер со своими новостями.

— Я так и знал, так и знал! Они уезжают в Сан-Себастиан. Куда же больше! Модный курорт. Съезжается вся испанская аристократия. И даже король! А тут еще под боком Биарриц.

Медея спросила:

— Но вы уверены, что и Язон вместе с цирком?

— Уверен ли я? Это мне нравится. А контракт? Контракт на полгода? Барбасан не так глуп. Он знает, кого берет в Сан-Себастиан.

— А эта, эта угнетенная невинность, она же королева пластических поз?

— Да, да, конечно же, и она! Это как раз де-

ликатный номер для великосветского общества, которое мы увидим на этом модном курорте.

Великолепно вышло у Цера это «мы». Он уже предвкушал Сан-Себастьян со всей его великосветскостью. Одно смущало его: Маврос, этот ужасный Маврос. Он и там будет ему отравлять существование, ему, Ансельмо Церини. Вот если бы подход или провалился сквозь землю; увы, прежде чем с ним случится то или другое, он перепортит Церу еще много крови.

Мекси спросил:

— А Фуэго и Бенедетти?

— Да, да, конечно же. И Фуэго, и Бенедетти, и все! Вся трупша.

— Когда они уезжают?

— Послезавтра. Ночь езды, а уже на следующий день первое представление.

— Как на следующий? А оборудовать цирк?

— Что такое? — торжествующе спросил Цер. — Уже за две недели там начали ставить цирк. Уже все готово. Я все узнал, все. И скажите после этого, что я не конфетка, не жем-

чужина?

— Гм... Довольно самовосхваления, — обрывал Мекси. — Поезжайте сейчас в «Вагон-лиг» и закажите на послезавтра два смежных купе в экспресс Париж — Сан-Себастиан.

— А я?

— Что вы? Кто вам сказал, что я беру вас в Сан-Себастиан?

— Это само собой разумеется, — ухмыльнулся Цер.

— А Маврос? Вы же его трепещете.

— Что значить «трепещете»? Я совсем не трепещу. Я только немножечко его боюсь. Я смирный человек, а этот дикарь, хотя и князь, какая-то совсем нахальная личность. Но в конце концов со мной шутки плохи. Я начинаю возить в своем чемодане револьвер.

— А разрешение у вас есть? — потешался Мекси.

— В том и дело... — вздохнул Цер. — Потому и в чемодане, что нет разрешения. Я человек мягкий, но если меня выведут из терпения, честное слово, я становлюсь горячим. Если револьвер у меня будет в кармане и этот Маврос на меня нападет, я за себя не ручаюсь,

я могу выстрелить. Но все-таки, патрон, как же я? Или вы хотите, чтобы личный секретарь Адольфа Мекси отправился по шпалам в Сан-Себастьян?

— Нет, я этого не хочу, — снисходительно улыбнулся Мекси шутовской выходке своего личного секретаря. — Вы возьмете купе в общем вагоне первого класса.

— Только для себя?

— Нет, не только для себя, но и для Марии. Вы проведете ночь вместе с нею. Полагаю, вы будете вести себя прилично?..

— Это серьезно, или патрон смеется? Если бы я жил на необитаемом острове и там была бы одна женщина, и эта женщина была бы Марией, даю вам честное, благородное слово...

— Верю без всякого честного слова. Довольно болтать. Поезжайте в «Вагон-лиг». Вот вам деньги.

— Есть, патрон, есть...

9. НА МОРСКОМ БЕРЕГУ

Ранним утром, когда «аристократический» Сан-Себастиан, приводивший Арона Цера в телячий восторг, еще спал, Язон и княжна Дубенская совершали прогулку вдоль прибрежных камней с вечным прибоем, вечным шумом и вечной борьбой двух стихий: подвижной и неподвижной.

Усевшись на твердую ноздреватую крутизну, молодые люди подолгу наслаждались, всем существом наслаждались, этим морским простором и впитывали в себя, жадно впитывали, все: и этот густой воздух, и эти посеребренные солнцем дали, и эту зыбь богатейших переливов и красок, и этот шатер бирюзовых небес, — словом, все то бесконечное очарование, какое только может дать море ясным сверкающим утром.

И хотя они сидели обыкновенно на высоте трех-четырёх метров над прибоем, однако сходящая пена брызг, чем выше, тем более превращавшаяся в водяную пыль, обдавала их влажной пылью, создавая молодое, бодрящее, полное какого-то необыкновенного подъема на-

строение...

Порою, когда волны с особенной мощностью разбивались о каменные глыбы, молодых людей обдавало уже не водяной пылью, а целым фонтаном брызг, окатывало с ног до головы. И они оба смеялись, и еще праздничнее, еще солнечнее согревалась душа...

И казалось им, нет ничего краше и этого моря, и этих каменных нагромождений, и этих белых парусов, белыми птицами скользящих по зеленой, как жидкий малахит, зыби. Казалось это им, во-первых, потому, что это было действительно прекрасно, а еще и потому, что они полюбили друг друга. Полюбили незаметно для самих себя еще в Париже. Но там чувство намечалось и крепло не так четко и ясно, как здесь. Там они встречались только в цирке, а потом становился между ними поглощавший их исполинский хаотический город. Здесь их ничто не разделяло, и они определеннее, скорее взаимно пошли навстречу.

И то, что назревало между ними и назрело в конце концов, было на виду у всей труппы. И вся труппа с какой-то бережной чуткостью

наблюдала этот роман, такой чистый, такой поэтический. И не только потому, что красивое чувство радуется со стороны вчуже, а еще и потому, что оба они, — и принц, и княжна, — имели сходное в своей судьбе и одинаково, каждый по-своему, пережили оставшуюся позади драму. А чувство сглаживает наиболее горькую горечь, разглаживает самые скорбные, самые безотрадные складки на челе, эту печать пусть даже перегоревшего, но еще властного и повелевающего пережитого.

В самом деле, разве не одинакова судьба их — наследного принца экзотической Дистрии и русской княжны, и разве не одинаково опустошающий самум развеял без остатка все близкое, все дорогое, заветное.

Революция выбила их из колеи, сделав бездомными скитальцами, она же бросила их на арену в борьбе за существование, и она же сблизила их.

Разбираясь в своем чувстве, Язон убеждался, что он впервые полюбил по-настоящему. Будь он тем, кем был еще недавно, связанный положением и этикетом, он не мог бы так свободно и так всецело отдаться этому чув-

ству.

Деревянный цирк с брезентным шапито — конусообразным куполом — с первого же дня завоевал симпатии курортной публики. И достаточно было пойти на премьеру несколькими самым знатным, самым титулованным лицам, как вслед за ними потянулись многие, уже не только самого зрелища ради, а из снобизма. Ходить в цирк считалось для отдохавшей в Сан-Себастиане испанской и французской знати хорошим тоном. Конечно, центр тяжести этого внимания был не в программе, пусть самой даже отмытой, первоклассной, а в том, что, пожалуй, еще нигде, никогда не было ни в одной цирковой труппе двух принцев крови, княжны древнего, очень древнего рода и кавказского горца, предки которого в десятках поколений были такими же воинственными наездниками мужественно-сурового вида, как и он сам. В этом любопытстве не было ничего оскорбительного для титулованных артистов. А после того как присутствовавший на одном спектакле испанский король, пройдя в антракт за кулисы вместе со своим адъютантом, несколько минут друже-

ски беседовал с Язоном, после этого весь «фешенебельный», по выражению Цера, Сан-Себастьян взапуски бросился знакомиться с бывшим престолонаследником Дистрии. Но Язон избегал, по мере возможности, этих новых знакомств. Зачем? Разве не хорошо ему было в своей семье и разве не было для него «всем» общество королевы пластических поз, с ее классическим профилем и светлыми прекрасными глазами?

Медея, так стремившаяся в Сан-Себастьян, была взбешена тем, что увидела.

— Здесь его фонды поднялись еще больше, чем в Париже, — говорила она Мекси таким тоном, как будто он, Мекси, был виноват, что фонды Язона поднялись.

Мекси успокаивал ее:

— Погодите, погодите. Немного терпения, и мы устроим ему такую штуку, будете довольны даже вы, ничем никогда не довольная.

— Хотела бы увидеть, — скептически отнеслась Медея к этому обещанию.

— Увидите, — уже на этот раз многозначительно пообещал Адольф Мекси.

— Да, мой друг, но не подумайте, что я ограничусь одним только Язоном. Я хочу заняться и этой королевой пластических поз, с которой он разыгрывает аркадскую идиллию наподобие пастуха и пастушки. Я сумею отравить ей, им обоим, это безоблачное аркадское настроение.

— Медея, можно подумать, вы ревнуете!

— Кто, я? Ха-ха, сударь, вы плохо знаете Медею Фанарет. Я, ревновать? — и, упершись в бока, подняв голову и сделав презрительную гримасу, с особенной кафешантанной манерой топнула ногой. — Я, ревновать? Никогда! Слышите? — и она помахала пальцем в горизонтальном направлении у самого банкирского носа.

Отодвинувшись, банкир сказал:

— Коль дело коснулось женщины, расправляйтесь сами. Я в этом вам не помощник. Я взял на себя принца, но здесь — умываю руки.

— Скажите, — какой джентльмен!

— Я всегда был джентльменом, всегда! — наставительно подчеркнул Мекси.

Медея рассмеялась, имея, очевидно, ка-

кие-нибудь основания усомниться в джентльменстве дистрийского волшебника.

10. СЧАСТЬЕ АРОНА ЦЕРА

Мекси приказал Арону действовать самым решительным образом.

Цер, желая угодить своему патрону, выпалил:

— Знаете, его можно убить! Совсем убить!

— Церини, вы с ума сошли.

— Наоборот, у меня очень свежая голова, потому я и говорю. Здесь есть люди с такими ножами, — Цер отмерил своими ладонями самое скромное полметра в длину, — эти ножи раскрываются с таким шумом, как если бы целое стадо голубей взяло и улетело. Шум такой, фрррр... Даже страшно. Если такой испанец раскрывает свой нож в десяти шагах, то делается уже страшно. Я теперь не посещаю кварталов, где эти люди с такими ножами. Мне так и кажется...

— Да замолчите вы, несносный болтун. Ряд мелких укулов чаще сильнее действует, чем смерть, особенно же на тех, кто самолюбив.

— Довольно!.. Церини понимает с полусло-

ва. Так я уже перехватил вашу идею... Я уже на всякий случай подружился... Он из цирка. Называется очень громко: шталмейстер, а выговаривается «конюх»... Мы с ним выпили бутылочку вина. Этот конюх говорит, если надо сделать что-нибудь принцу, он берет на себя. Он сделает! Если, если ему немножечко заплатить, и то вперед. Деньги на бочку. У него даже есть готовый трюк, но он держит его в секрете. Если патрон мне даст «карт-бланш», то я ручаюсь за успех. Скоро будет новое парадное представление, и опять будет присутствовать на нем сам король испанский. А ведь вы знаете, что король испанский в приятельских отношениях с «нашим другом» Язоном. Так вот, хорошо его оскандалить во время этого самого гала-представления. Разумеется, не короля, а Язона.

Но пока Цер собирался «оскандалить» наездника высшей школы во время гала-представления, он сам, Арон Цер, был весьма оскандален и сконфужен.

Медея с первых дней в Сан-Себастиане поручила ему следить за княжной и принцем. Это была злая прихоть танцовщицы. Пусть

он, мол, преследует их по пятам. Они вдоль берега, и Цер за ними, они сядут на камнях, и Цер устроится где-нибудь, хотя и на приличной дистанции, но все же на виду.

Цера хватило только всего-навсего на одну слежку. А на дальнейшее — закаялся.

По утрам княжна и принц совершали прогулки за город, где меньше людей и больше природы.

Цер, исполняя директивы Медеи, отправлялся за влюбленными, держась в какой-нибудь сотне шагов за ними. И вот уже кончился Сан-Себастьян, кончились пригородные виллы, а княжна и принц, увлекаясь друг другом и беседой, шли все вперед и вперед. Ансельмо Церини, избегавший передвигаться пешком, — то ли дело автомобиль? — проклинал свою миссию, к тому же не совсем безопасную. Если его заметят, вспыльчивый Язон может его избить тростью, и выйдет маленькая неприятность. Но случается иногда, ждешь неприятности лицом к лицу спереди, а она тебя подстерегает сзади. Так случилось и с Цером.

Одетый по-курортному, в белые фланеле-

вые панталоны и белые туфли, шел он, держа в руке панаму и все более и более проникаясь мыслью, что его не заметят и все сойдет благополучно. Еще немного, и он совсем проникся бы этой мыслью, как вдруг сзади кто-то энергично «коснулся» концом трости его плеча. Похолодевший Цер съежился, не решаясь обернуться, боясь увидеть что-то донельзя страшное.

Кинуться наутек, уповая на резвость ног, не хватило мужества, ибо иногда и для бегства необходимо некоторое мужество. Две сильные руки схватили Цера за плечи, и, резко повернутый, словно вокруг оси, он увидел перед собой такое страшное, такое страшное лицо, что сначала на мгновение зажмурил глаза, вспомнив свой револьвер, оставшийся в чемодане.

Это «страшное» оказалось Мавросом. Да, это был князь Маврос, не призрачный, а настоящий, во всей своей многообещающей реальности.

— А, наконец-то я тебя поймал, негодяй! Теперь ты не убежишь! Это пустынный берег, а не Париж, и к твоим услугам нет спящих

Такси...

— Я... Я... Я... — Цер не мог произнести ни одного звука. Нижняя челюсть с подстриженной бородкой ходила ходуном, а зубы как-то цокаяще выбивали дробь.

Мавросу от души хотелось рассмеяться, — так был жалок и гадок Цер, — но напряжением лицевых мускулов он сделал себе жестокий свирепый «грим».

— Мерзавец! Ты подглядывал за Его Высочеством?

— Д-даа... то есть нет, нет... Я... Я... Я... гуляю для... моциона...

— Ты гуляешь для моциона? Вот я тебе пропишу моцион. Пересчитаешь своей головой все прибрежные камни, — и Маврос сделал вид, что желает схватить Цера за шиворот.

Цер, почувствовав слабость в коленях, присел. Это подало ему блестящую мысль совсем упасть, если Маврос вздумает привести в исполнение то, что пообещал.

— В... В... Ваша Светлость, не губите! Я человек с... семейный, жена, дети.

— Ну вот что... Долой эти басни о детях! От-

вечай прямо, без утайки. Ты выкрал кольцо из моего комода? Имей в виду, малейшая ложь, я действительно сброшу, тебя в море. Слышал? Выбирай!

— Я... Я уже выбрал. Я, Ваша Светлость, человек маленький. Мне приказали и я... я сделал...

— Кто приказал?

— Один... один человек.

— Может быть, два человека?

— Д...два...

— Назови их!

— Ваша Светлость...

— Назови сейчас же!

— Я... я не смею.

— Слушай, каналья, я считаю до трех раз. После третьего будет уже поздно. Ты при-
мешь морскую ванну вместе со своими фла-
нелевыми штанами. Итак: раз, два...

— Ваша Светлость, нет, я... я уже говорю!

— То-то же. Имена?

— Имена? Я не могу! То есть я могу, но... не смею. Нет, нет, я уже говорю, только не бросайте меня...

— Я и без тебя знаю. Я только хочу, чтобы

ты подтвердил. Фанарет и Мекси?

— Ваша Светлость, вы же сами знаете. За что же мне эта испанская инквизиция... — уже понемногу приходил в себя Цер, уверенный, что теперь уже морская ванна не грозит ему и его белым панталонам. Увы, миновала одна гроза, надвигалась новая.

Князь решил использовать до конца эту встречу. Он вынул карандаш и записную книжку.

— А теперь не угодно ли начертать здесь свой автограф?

Цер недоумевал: это еще что такое? На мгновение даже мелькнуло, что князь и в самом деле желает иметь его автограф: Ансельмо Церини. Но это дикое предположение рассеялось при первых же словах Мавроса.

— Пиши. Пиши то, что я тебе продиктую

— А что писать?

— Сейчас увидишь. Готово? Пиши! Я, Ансельмо Церини, удостоверяю, что по поручению Адольфа Мекси и Медеи Фанарет я украл.

И записная книжка, и карандаш запрыгали в руках Цера. С искаженным лицом запросил он пощады:

— Ваша Светлость, я этого не напишу. Я не могу. Меня бросят в тюрьму. Я никогда не сидел в тюрьме. Если я напишу, кто велел это мне сделать: вы знаете, какой человек Мекси? Он меня убьет. Хуже, чем убьет. Даже страшно сказать, что он со мной сделает. Я его боюсь больше всякой тюрьмы. Ваша Светлость...

— Пиши то, что я тебе приказываю... Цери-ни, я опять считаю до трех. Раз...

— У меня трясется рука.

— Пусть не трясется. Два.

Цер дико озирался, как затравленный шакал. Неужели ниоткуда не придет спасение? Неужели этим документом он сам себя отдаст в руки полиции? Но полиция еще с полгоря. Церу приходилось с ней иметь дело. Мекси и гнев его — вот кошмар!..

Видимо, на этот раз негодяю суждено было выйти сухим из воды. Прямо на Цера и Мавроса надвигались, — они уже близко, — два карабинера в клеенчатых треугольниках, обходивших береговую полосу. Вот они уже в нескольких шагах, усатые, смуглые.

Мозг Цера мучительно соображал, как

быть? Если они пройдут мимо, он погиб. Если они вмешаются, Цер спасен.

Князь прошептал сквозь стиснутые зубы:

— Если посмеешь обратиться к ним за помощью, горе тебе!

Но Цер «посмел». Это была смелость труса, труса в безвыходном положении. Кинув на землю карандаш и записную книгу, он, раскрыв, словно для объятия, руки, бросился к одному из карабинеров, умоляя на ужасном французском языке:

— Капитэн, колонель, сове муа, силь ву пле! Сове муа! [8]

Спокойно, не двигаясь с места, наблюдал князь эту сцену.

Изумленные карабинеры изумились еще больше: какое насилие мог учинить этот породистый, с военной выправкой джентльмен над этим субъектом со шрамом во всю щеку?

Старший по чину и по возрасту карабинер, с углом на рукаве, обратился к Мавросу, подмигивая на Церини:

— Он сумасшедший?

— Хуже, он бандит!

— Сеньор имеет против него какие-нибудь

осязательные улики?

— Нет, не имею, к сожалению.

— В таком случае, мы не вправе его задерживать.

Карабинер с углом, записав на всякий случай имя и адрес Церини, сказал ему:

— Ву зет либр [9], мосье...

Цер со всех ног пустился к городу. Его счастливая звезда еще не померкла...

11. ПЕРСИДСКИЙ ПРИНЦ В РОЛИ СОЛОМОНА

Цирковые артисты и в частной жизни своей избегают смешиваться с толпой, все равно, какая бы она ни была: серая ли, будничная или же нарядная, блестящая. Циркачи любят собираться своей собственной семьей в каком-нибудь скромном месте, где вообще мало кто бывает.

В Сан-Себастиане зачастили они в пропахшую вином бадегу старого Антонио.

Этот отяжелевший под бременем и почтенного возраста своего, и чрезмерной полноты испанец не пускал к себе с улицы первого встречного. Количество гостей не прельща-

ло его, и не за этим гонялся он, заботясь главным образом о качестве своих клиентов. Не понимавших в тонком вине тучный старик откровенно презирал, едва ли даже за людей считая.

Вино и бой быков — эти две области и сам понимал Антонио и требовал, чтобы и все другие понимали. Его полутемная, закопченная бадега, сводом своим напоминающая подвал, первое впечатление производила скорее сомнительное.

Но стоило часок-другой провести у Антонио, впечатление резко менялось. Старик ничуть не хвастал, уверяя, что такой малаги и такого хереса не найти в лучших отелях и ресторанах города.

Понимающие в благородном напитке невольно подтягивались, когда Антонио, подходя к столику с бережно зажатой в громадных коричневых пальцах бутылкой, еще более бережно, как бы священнодействуя, разливал по рюмкам густую ароматную малагу. И гости следили за его рукой — волосатой, с засученным по локоть рукавом.

Мужчины цирка Барбасана частенько за-

глядывали в закопченную бадегу отдать должное хересу и малаге. Обычная компания: принц Фазулла-Мирза, Фуэго, Бенедетти, кавказский наездник с внешностью янычара, веселый Заур-бек. Не всегда, но и не редко присоединялся и Язон вместе с Мавросом.

Лилось вино, и вместе с ним лились воспоминания. А каждому было что вспомнить! Все столько перевидели, перенаблюдали, переиспытали, переколесили по белу свету — на много-много человеческих жизней хватило бы!..

В часы этих застольных бесед люди цирка говорили о том, что им ближе, дороже всего: о лошадях, о знаменитых наездниках, о силачах, о трудных, мало кому дающихся акробатических трюках. Заур-бек и принц Каджар часто вспоминали войну, рисуя захватывающие картины и эпизоды, которые выслушивались с затаенным дыханием. По счастью, в этом кружке не было ни одного собеседника, принадлежащего к несносному типу людей: эти люди желают говорить, говорить без конца, и вовсе не желают слушать других.

Иногда чувство неизбежного соревнова-

ния, соперничества сообщало какой-то прямой привкус беседам, переходившим в нечто схожее с профессиональным спором, на этой почве часто скрещивали оружие Заур-бек и Фуэго. Но никогда не переступали они границы, никогда не впадали в нетерпимость и резкость. Но если даже кто-нибудь из них по темпераментной горячности и забылся бы, смуглый черноусый принц Каджар тут как тут, начеку, и со своим большим тактом, со своим житейским опытом, и со своим придворным воспитанием.

Хотя Фуэго и Заур-бек были в отличнейших приятельских отношениях, ценя друг в друге и наездника, и человека, однако же оба, движимые патриотическим чувством, отстаивали каждый свое.

И вот тут-то примирял их Фазулла-Мирза.

— Господа, в мире нет ничего абсолютного. Ничего! Нельзя сказать: американские ковбои лучше кавказских наездников, или наоборот: кавказские наездники лучше американских ковбоев. У одних — свои выигрышные плюсы, у тех — свои. Кавказец не сделает того, что делает ковбой, ковбой не повторит

кое-каких чисто кавказских трюков. Да и не может быть иначе. Совсем другое воспитание и человека, и лошади, совсем другая воинственность у кавказца и у ковбоя. Разные культуры, разная психологии.

Заур-бек, горячась, пытался что-то возразить, но метатель ножей Персиани призывал его к порядку:

— Ротмистр Заур-бек, когда старший в чине говорит, потрудитесь не перебивать до конца! — и при этом улыбка такая обаятельная, — пылкий ингуш мгновенно смирялся и внимательно слушал, покручивая свои янычарские усы.

— Я сделаю ряд сопоставлений, — продолжал Фазулла-Мирза. — Кавказский горец отлично владеет арканом, слов нет, но никогда ему не подняться до искусства, с каким ковбой владеет своим лассо. Дальше. Ковбой на галопе разбивает револьверными пулями брошенные в воздух стеклянные шарики. Кавказец справляется с дикой лошадью, но, опять-таки, и в этом отношении лучший ковбой превзойдет лучшего кавказца.

По мере того как принц Каджар выхватывал

вал все новые и новые примеры, все больше и больше сиял Фуэго и все больше мрачнел Заур-бек. Но вот наступал поворотный пункт, когда Заур-бек и Фуэго поменялись ролями. Сияние с лица ковбоя переходило на лицо кавказца, кавказец как бы уступал ковбою свою мрачность.

— Заур-бек, вы помните старого князя Маршания?

— Как же не помнить, Ваша Светлость? Жив ли он?

— Фуэго, представьте себе маленького сухого старика, лет семидесяти, — обратился Каджар к ковбою. — На вид еле душа держится. На коне же это была красота! Этот самый князь Маршания проделывал такую вещь: в землю закапывали барана, так основательно закапывали, — на поверхности оставались шея и голова. И вот старый наездник, проносясь мимо карьером, успевал ухватиться обеими руками за рога и вырвать, слышите, вырвать барана, преодолев, кроме тяжести барана, еще и сопротивление земли.

Сделав паузу, Каджар обвел глазами своих собеседников. Несколько секунд и Фуэго, и Бе-

недетти, и все остальные молчали.

К задетому за живое Фуэго первому возвратился дар речи.

— Это... это невозможно. Такой сверхъестественный трюк. Диос! Принц, клянусь Мадонной, никому другому не поверил бы!

— Фуэго, я сам был очевидцем! Старик дважды проделал это на моих глазах. Теперь как прямой и честный спортсмен, каким я вас знаю, скажите вы, ковбой, могли бы повторить то же самое?

— Нет!

— Заур-бек, вы удовлетворены? Слушайте же дальше, Фуэго. Этот же самый маленький старик... Но сначала, вы знаете, что такое бурка? Да, ведь вы ее видели у Заур-бека. Накидка из шерсти без рукавов, обладающая свойством сохранять свою форму, если ее поставить на землю. Так вот, Маршания на галопе разрубал ее пополам шашкой. У вас, ковбоев, холодное оружие не в употреблении, и уже поэтому исключается такой изумительный классический пример лихой рубки. Я сам с детства рублю шашкой и уверяю вас — легче снести голову быку одним ударом, чем так

разрубить пополам бурку!..

Особенно восхищался наблюдательный, все замечающий и подмечающий Бенедетти. Запуская от удовольствия в свои густые благородно-рыжие волосы все пять пальцев, знаменитый клоун восклицал:

— Наш уважаемый принц так же искусно владеет словом, как и ножом. Мне редко приходилось слышать нечто более дипломатическое. После этого Заур-бек и Фуэго должны почувствовать еще живейшую, сильнейшую приязнь между собою. Великий Соломон, и тот не рассудил бы мудрее...

Сконфуженный этим наплывом комплиментов по своему адресу, принц Каджар поспешил отвлечь внимание с собственной персоны на тех, кого он только что примирил этим, поистине Соломоновым, судом:

— Я согласен с Бенедетти. Два славных наездника, несомненно, сблизятся еще теснее, и за это сближение их я предлагаю выпить, друзья мои! Тем более, они символизируют собой Старый и Новый Свет, во имя процветания человечества обязанные дружно идти рука об руку...

Густая маслянистая пахучая малага заискрилась в поднятых стаканах.

12. О ПЕЩЕРНЫХ ЛЮДЯХ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

В этой цирковой семье Бенедетти был ветераном. Около четверти века теснейшим образом связанный с ареной, когда он начал свою карьеру, Фуэго только-только разве начинал жить.

Бенедетти любил рассказывать о том, что после великой войны уже отошло в историю. В его ярких описаниях рельефно вставал отживающий мир силачей и борцов-атлетов.

— Отчасти они выродились, отчасти на них прошла мода, — пояснял Бенедетти. — А с уменьшением спроса уменьшается и предложение. Я еще застал расцвет мускульной силы, и большинство лет двадцать назад гремевших на этом поприще либо давно уже спят вечным сном в могилах, либо, хотя и существуют еще, но уже являются своей собственной тенью. Они пережили и себя, и свою славу. Помню, были среди них и по изумительной силе, и по страшной выносливо-

сти прямо какие-то пещерные люди. Да вот, например, такой случай: цирк наш заносило в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. Я был тогда начинающим акробатом. Акробатом чистой воды. Клоуном сделался позже. С нами приехала труппа борцов. Подобно всякому юноше, я увлекался физической силой, и эти здоровенные плечистые люди с железной мускулатурой, с бычачьими затылками и поистине волчьим аппетитом были какими-то языческими божками в моих глазах.

Из этих языческих полубожков остался мне в памяти поляк Беньковский, более известный в свое время под псевдонимом «Циклоп». Принц помнит его, пожалуй, по Петербургу?

— Не только по Петербургу, но и по Тифлису, Баку, — отозвался Каджар. — Невысокий квадратный человек. В нем действительно было что-то пещерное...

— Напряжением своих чудовищных бицепсов он срывал цепи, ему на грудь клали небольшой жернов, и тот жернов кузнецы разбивали ударами тяжелых молотов. Кулаком почтеннейший Циклоп-Беньковский

вбивал в дубовую доску громадные гвозди. Он был феноменально глуп и, в сущности, не говорил ни на одном языке. И то, и другое очень шло к его «стилю» доисторического человека. При этом — маленький череп, маленький лоб и широкое костистое с широкими челюстями лицо. Усы он закручивал в стрелку. Вообще Циклоп считал себя неотразимым красавцем и ухаживал за своей внешностью с кокетством какого-нибудь новозеландского дикаря.

В бразильской столице я жил вместе с атлетами. Для меня это было таким счастьем! Занимали мы два смежных номера в одной из дрянных гостиниц. Тогда в Рио-де-Жанейро свирепствовала желтая лихорадка. Она косила людей, как серп жницы колосья. Зацепила желтая лихорадка и нашего Циклопа; этот буйвол несколько часов лежал пластом без движения.

Кто-то из борцов заикнулся: «Доктора бы!» Но все замахали руками: «Зачем доктора? Не надо! Все одно помрет к ночи». И действительно, было такое впечатление, что Циклоп умер.

Атлеты — народ менее всего сентиментальный. Умер так умер. Сожалением его не воскресишь. И начали стаканами пить коньяк и резаться в карты. А чтобы мертвый не мешал веселиться живым, борцы сняли с кровати матрац, положили Циклопа на доски и прикрыли его матрацем. Пьянство и карты продолжались всю ночь. Под утро, когда все были пьяны и проигрывать уже было нечего, укладывались спать. Двое борцов, негр Бамбулла и немец Мюллер, расположились на матраце, прикрывавшем Циклопа, и тотчас же оба мирно захрапели. Поздним утром Бамбулла и Мюллер просыпаются, но не по доброй воле, а разбуженные: матрац ходуном заходил под их тяжелыми тушами. Словно и тот, и другой лежали на какой-то движущейся горе. Разумеется, им уже не до сна. Чертыхаясь каждый по-своему, вскакивают с постели, сдергивают матрац. И... о, изумление!

— Циклоп! Циклоп жив...

На этот возглас все мы сбегаемся. Действительно, Циклоп жив, жив, никаких сомнений. Он шевелится, весь пропотевший. Его толстый драповый костюм — хоть выжми. Мало

этого, под кроватью целая лужа воды, — результат богатырской испарины. Циклоп подымается, как ни в чем не бывало, и еще благодарит Бамбуллу и Мюллера:

— Спасибо, друзья мои! Если бы не вы, я не пропотел бы так основательно и, пожалуй, того... меня не было бы на этом свете.

Вот вам и Циклоп! Чем не пещерный человек? Кто-то из слушателей, пораженный, задал вопрос:

— Но позвольте, Бенедетти, как же так? Ведь он мог задохнуться? И, наконец, выдерживать на себе несколько часов груз двух тяжелых атлетов? Что за нечеловеческая выносливость. Для этого... для этого...

— Для этого надо быть именно Циклопом и никем другим, — подхватил Бенедетти. — Но вы упускаете самое главное. Его чудовищный организм без всякой медицинской помощи переборол желтую лихорадку, смертельную для обыкновенного человека. Лошадиная испарины и несколько часов, проведенных под прессом, выгнали из него всю болезнь. Скажу вам больше, в этот же самый вечер Циклоп рвал цепи и носил на себе пирамиду, живую

пирамиду из девяти человек. Девятый был ваш покорный слуга, венчавший собой острие пирамиды. Новое поколение атлетов измельчало, и уже никому не побить рекорда, поставленного Циклопом...

В подобных рассказах Бенедетти был неистощим. Его можно было слушать целыми днями. И какие только земли и страны не были фоном его рассказов: Средняя Азия, Персия, Япония, Россия, Алжир, Египет, Австралия, Мексика, Трансвааль, Куба, Сан-Франциско, Португалия, Испания, — все это мелькало, как на ленте кинематографа.

13. ПОДКУПЛЕННЫЙ «ШТАЛМЕЙСТЕР»

Арон Цер был готов идолопоклоннически амолиться на каждого карабинера. Да, да, он, Арон Цер, до сих пор не выносивший полиции, теперь согласен прыгать, как теленок, задравший хвост, при виде клеенчатой треуголки и под ней черных, туго закрученных кверху усов. Ах, эти клеенчатые треуголки, эти закрученные усы! Подоспев как раз вовремя, они выручили его из страшной беды. И самое страшное было бы не в том, что Маврос заставил бы его принять соленую ванну, а в гораздо худшем. Опоздай карабинеры на каких-нибудь всего-навсего полторы минуты, Маврос обладал бы драгоценным для него, Мавроса, и убийственным для Мекси, а следовательно, и для Ансельмо Церини — документом.

Уже так заведено — опереточные карабинеры приходят слишком поздно. Что же касается карабинеров действительности, карабинеров в Сан-Себастиане, обходивших свои посты, они как раз вовремя подоспели.

Хотя Цер удирал от них вовсю, однако же счастьем его не было границ. Еще бы! Вместо того, чтобы подписать смертный приговор, или почти смертный, себе и своему всемогущему патрону, Цер оставил князя Мавроса с длинным-предлинным носом. Увы, ликование человека со шрамом не было продолжительным, вернее, оно было весьма кратковременным. В самом деле, как-никак Сан-Себастьян не Париж, и здесь все мозолят глаза друг другу. Одно из двух: либо сидеть под домашним арестом, либо ежеминутно рисковать встречей с Мавросом. А с Цера довольно было и первой встречи, дабы всеми правдами и неправдами избегать следующей. Ничего хорошего в перспективе! Если будет поблизости море, он сбросит его в море. Если же встреча произойдет на самой основательной, самой твердой суше, мало ли что может сделать Маврос? При одной мысли, что этот человек может сделать, Ансельмо Церини и физически, и морально сжимался в холодный трепещущий комочек... В общем — гордиев узел. Так или иначе надобно его разрубить. Но гордиев узел немислим без Александра

Македонского. Единственный в данном случае Александр Македонский — это Адольф Мекси. К нему-то и пошел Арон Цер поплакаться на свое горе.

— Патрон, разрешите вам заявить самым категорическим образом. Я уезжаю назад в Париж.

— Так же категорически объявляю вам, Церини: вы остаетесь здесь, пока я этого желаю.

— Патрон, сжальтесь хоть вы надо мной! Или вы хотите меня подвергнуть испанской инквизиции? Вы знаете, этот Маврос чуть-чуть не сбросил меня в море.

— Чуть-чуть не считается, друг мой...

— Вам легко говорить, но что вы скажете, если под наведенным дулом револьвера я едва-едва не расписался черным по белому, что я, понимаете, нельзя было бы иначе... револьвер — не игрушка, что я... Одним словом, если б не эти карабинеры, дай им Бог здоровья и счастья, если б не они, он заставил бы меня подписать такой документ, я даже не могу выговорить...

Цер выговорил в конце концов, и Мекси утратил свой беспечно-насмешливый вид.

— Однако и негодяй же этот Маврос! Но вы-то, вы, Церини, тоже хороши! Я вас создал, вытащил из грязи, а вы, вы готовы были предать меня. Какая гнусность! Какое же вы ничтожество!

— Ничтожество? Благодарю вас!.. Хорошее ничтожество, когда тебе приставили к виску револьвер. Не только себе самому, не только вам, родным отцу и матери подпишешь смертный приговор. Нет, патрон, я не согласен с вами. Требуйте от меня какой угодно признательности, — я вам обязан всем, — но не требуйте сверхъестественного героизма. Когда на тебя наводят револьвер, а твой собственный револьвер лежит преспокойно в чемодане...

— Послушайте, черт бы вас взял, я не требую от вас героизма, но требую, чтобы вы заткнули фонтан вашего красноречия. Довольно! Вы остаетесь при мне, здесь, а если это вам не нравится, убирайтесь вон на все четыре стороны!

— Нет, нет, я уже остаюсь! Я не буду ему попадаться на глаза. То есть, я не буду ходить там, где совсем нет людей или где очень мало

людей.

— Давно бы так! Нечего шататься зря. Да, вы сделали что-нибудь в том направлении?

— В каком? Ах, в этом? Я уже начал делать, но сегодня уже наверное сделаю. Этот шталмейстер, пардон, этот конюх такая жадная скотина...

Мекси погрозил пальцем.

— Опять?

— Да что же я могу? Это я человек бескорыстный, а люди не хотят и пальцем шевельнуть ради наших прекрасных глаз.

— Сколько?

— Я думаю... думаю... — прикидывал Цер, — я думаю, он возьмет каких-нибудь пять тысяч песет.

— А сколько вы себе возьмете?

— Чтоб меня разорвало, чтоб меня удавило, если я из этого возьму себе хотя бы одну песету!

— Ну довольно, довольно!

Часа через два Цер сидел у себя в номере со шталмейстером Гансом. Это был скуластый, сухой конюх, маленький, крепко сбитый, весь-весь из сухожилий и с крепкими желты-

ми зубами.

Цер допытывался:

— Господин шталмейстер, вы же человек опытный, знающий, скажите, что вы можете ему сделать? Да, вы говорите, будет парадный спектакль?

— Будет.

— И в присутствии самого короля?

— В присутствии самого короля.

— Ой, как это хорошо! И что вы надумали?

— Вещь не такая уж мудреная, в сущности, — молвил снисходительно Ганс. — Я беру два маленьких гвоздика и перед самым номером господина Ренни Гварди произвожу следующую манипуляцию: один гвоздик втыкаю в копыто его лошади, а другой — в седло, но так, что сначала острие будет чуть-чуть выступать, но когда всадник сядет и надавит своей тяжестью, гвоздь вопьется в кожу лошади: с одной стороны в спину, с другой — в копыто... И когда Ренни Гварди начнет показывать испанский шаг, лошадь начнет беситься, и мы испортим ему всю музыку. Выйдет, сударь мой, такой скандал, после этого хоть уезжай из Сан-Себастиана. А старый Гви-

до? Он проклянет день и час, когда подписал контракт с этим Ренни Гварди. Нет, уж будьте спокойны, это верно действующее средство. Кроме того, скандал скандалом, а еще и лошадь захромает. Неделью, а то и две нельзя будет на ней работать. Что вы скажете? — и Ганс, торжествуя, оскалил свои крепкие желтые зубы.

— Мне это нравится. Это будет очень хорошо. Но сколько же это будет стоит?

— Сколько? Тысячу песет и то с вас, Церини... По знакомству...

— Тысячу песет? Господин шталмейстер, довольно и пятисот, честное слово!

— Вам легко говорить, а если меня поймут? Я лишусь места.

— Не поймут, увидите, не поймут! А хотя бы и поймут, какая разница — тысяча или пятисот? И так не хватит на всю жизнь. Но только вас не поймут. У меня предчувствие. Готов чем угодно поклясться!

— Пусть будет по-вашему. Давайте деньги. А если все сойдет благополучно, с вас еще ужин и выпивка.

— Два ужина и две выпивки, — обрадовал-

ся Цер, что все обошлось так дешево и он заработал на этой комбинации четыре с половиной тысячи.

14. ЗАВИСТЬ

Старый Гвидо не знал, как благодарить персидского принца.

— Ваша Свет... гм... гм... господин Персиани, я вам этого никогда не забуду...

— Чего, директор?

— Королевы пластических поз!.. Вот уж действительно, ваша милая протезе как бы создана для этого амплуа. И что я вам еще скажу? Для Парижа этот номер, как вам сказать, был бы, ну скорее, моим личным капризом, что ли? Здесь же, здесь, он словно выдуман для шикарной публики Сан-Себастиана. Эту пластику, эту симфонию драпировок надо понимать, чувствовать. И наша публика понимает, и чувствует, и держит себя, вы не удивляйтесь, ваша... гм... господин Персиани, как балетоманы первых рядов. Не угодно ли? Вот вам и цирк!..

В этот момент принц Каджар затруднился бы, пожалуй, решить, кем же собственно вос-

хищается Барбасан главным образом. Королевой пластических поз, самим ли собой, — вот он, мол, изобрел тончайший аристократический номер, — или же своей публикой, напоминающей балетоманов первых рядов? Пусть и тем, и другим, и третьим, пусть! Важно, что старый Гвидо вне себя от удовольствия. А таким бывает он редко, этот весьма требовательный и весьма разборчивый директор.

Он был прав. Дианира, королева пластических поз, выходила далеко за пределы цирковой программы. В самом деле, это было нечто балетное, и вдобавок «балетное для немногих»...

Княжна Дубенская не удовлетворилась теми готовыми формами, какие ей предложил Барбасан. Полученное ею «готовое» она как бы одухотворила собственным вкусом, собственным творчеством. Достав альбом превосходных снимков с древнегреческой скульптуры, Дианира подолгу изучала ритм и гармонию драпировок с их античными складками. А потом от изучений переходила к выполнению на своей собственной фигуре, терпеливо, часами простаивая перед зеркалом. И

результаты на диво! Перед публикой, ярко освещенная потоками лучей ослепительных рефлекторов, Дубенская на память двумя-тремя движениями достигала в распределении драпировок тех эффектов, что пленили ее на снимках античных богинь. И она сама чудилась одной из этих оживших прекрасных богинь.

Глядя на королеву пластических поз, Медея Фанарет зеленела от зависти. Ей, профессиональной танцовщице, никогда с такой легкостью и с таким благородством не давалось чувство драпировок, как этой светской барышне-дилетантке. И Медея сознавалась в тайниках души, что рядом с Дианирой, она, прославленная Фанарет, — груба и вульгарна.

А тут еще бесило ее внимание, проявляемое к королеве пластических поз Адольфом Мекси. Между дистрийским волшебником и Медеей происходили семейные сцены. Каждый вечер Мекси тянуло в цирк уже не только на Ренни Гварди, наездника высшей школы, а на трюк Бенедетти и Фуэго, и на Дианиру.

Медея выходила из себя:

— Что вы нашли в этой девчонке? Ее любительский номер — одно сплошное недоразумение! Это и не цирк, и не чистое искусство, и если бы не ее красивая фигура, не было бы никакого зрелища...

— Друг мой, где же логика? Начиная с отрицания, вы сами же кончаете признанием! И, наконец, дело вкуса. Вам не нравится, а мне нравится. Не только мне одному. Самая изысканная публика, словно священнодействуя, отдается созерцанию.

— И черт с вами со всеми! Священнодействуйте, созерцайте, курите ей фимиам, раз вы все такие безнадежные болваны, у которых своего ничего нет! — уже не владела собой Медея, переходя к ругательствам и глумлению. Фанарет написала Дианире письмо. Главной заботой Фанарет было наговорить побольше оскорбительного, обидного, унижающего. И заодно со всем этим очернить ненавистного Язона.

Мадемуазель!

Вы так самообольщены вашим призрачным, дешевым успехом, я думаю, вам бесполезно будет услышать

трезвое мнение настоящей артистки, уже тогда имевшей действительно заслуженный успех, когда вы бегали в коротеньком платьице. Я понимаю: вам, жалкой нищенствующей эмигрантке, нужен кусок хлеба. Понимаю, но при чем здесь искусство? Искусство требует знаний и неусыпной работы. Вы же решили, что не надо ни того, ни другого, и достаточно хорошенького личика и недурной фигурки, и большой дозы нахальства. Да, нахальства, ибо ничем другим нельзя назвать доморощенные выступления ваши. Вы слышите кругом так много лести! Возьмите же на себя труд услышать хотя бы один трезвый голос. Мой вам добрый совет — не выступать больше, а свои внешние данные использовать в другом, более легком направлении, что будет совсем не трудно при созданной вокруг вашего имени беззастенчивой рекламе...

Здесь много праздных богатых мужчин. Надеюсь, вы понимаете, и всякие комментарии излишни. Если не верите мне, посоветуйтесь с вашим любовником. Не сомневаюсь, что Его Ко-

ролевское Высочество одобрит мой план. Отчего же выгнанному принцу не пожить всласть на деньги, заработанные телом его подруги. Смею вас уверить, найдется богатый дурак, который будет содержать вас обоих. В заключение прибавлю, что экс-принц дистрийский совсем не так давно еще был и моим любовником и продолжил бы состоять в этой роли, если бы не надоел мне, если б я его не вышвырнула. Спросите его самого. Надеюсь, Его Высочество, специализирующийся теперь на высшей школе верховой езды, обладает некоторым мужеством, чтобы подтвердить правоту моих слов.

*Ничуть не уважающая вас, ибо вы достойны одного презрения,
Медея Фанарет.*

На что рассчитывала Медея? Какой предвкушала эффект? О, ей хотелось многого этим письмом достигнуть! И хотя сочинила его Фанарет, ослепленная ненавистью и другим чувством, в котором сама не хотела сознаться, но имя которому была зависть, однако

ослепление не помешало, а может быть, и помогло верности удара. Медея, если и не вполне, то все же достигла цели. А цель — смутить покой чистой хорошей девушки, отравить ее чистую девичью душу и пусть на какой-нибудь час, даже на минуту, превратить эту душу в трепещущий, захваченный грязными руками комочек...

Но это еще не все. А поколебать Дианиру сомнением, двойным сомнением, и в своих собственных артистических достижениях, и в любимом человеке?...

Когда Дианире подано было письмо, какое-то недоброе предчувствие охватило ее. С недоумением глядела на чужой незнакомый почерк, с опасением отдаляла момент вскрытия конверта. Конверта надушенного, продолговатого, твердого и без марки. Горничная пояснила, что письмо это доставлено шофером из отеля «Мажестик».

— «Мажестик», «Мажестик»? — недоумевала княжна.

Странно, кто бы это мог быть? Никто из ее знакомых не останавливался в «Мажестике». Да и вообще, она за все эти дни не встретила

в Сан-Себастиане никого, решительно никого из своих прежних знакомых. Не ошибка ли это? Какая же ошибка, когда адрес написан подробный и точный. Указан не только отель, где живет Дианира, но даже и номер комнаты. А затем неведомая корреспондентка, — почерк женский, — сваливает все вместе: и королеву пластических поз, и Дианиру, и ла-принцесс Дубенская. В общем, не адрес, а салат оливье какой-то. Победив свое предубеждение, княжна заставила себя в конце концов прочесть письмо, прочесть до конца, хотя несколько раз физически подступавшее отвращение внушало желание скомкать и разорвать в клочки эту гнусность. Она, вероятно, так и сделала бы, если бы не помешали.

Знакомый стук в дверь и знакомое «антрэ», знакомое тому, кто вслед за этим «антрэ» вошел. Обычный визит Язона в его, вернее, в их, обычный утренний чай.

Она всегда встречала его такой приветливой, солнечной улыбкой. Всегда, а сейчас...

— Княжна, что с вами? — встревожился он. — Что-нибудь случилось? Дурные вести?

— Нет, ничего... А разве, разве что-нибудь

заметно?

— Еще бы не заметно! Еще бы. На вас лица нет! Да если бы я даже не видел вашего лица, я почувствовал бы. Это передается. Вскоре и мысли наши будут одни и те же, — хотел сказать принц, но слова застыли у него на губах, так посмотрела на него Дианира.

Станный взгляд. Станный для нее и в ее устах вопрос:

— Вы думаете?

А сама нервно комкает письмо.

— Елена, что все это значит? — похолодел Язон. — Вы всегда такая ясная, такая светящаяся, а сегодня... Это письмо? Я не допытываюсь о содержании. Скажите одно, скажите! Дурные вести?

Она не отвечала. Какая-то борьба, какие-то сомнения. Потом решительный жест:

— Прочтите!..

— Елена!

— Прочтите! — повторила она еще более твердо.

Он не мог послушаться и нерешительно взял письмо. С первых же строк понял все, и кровь густо залила его лицо, забила в висках

маленькими молоточками...

А княжна следила за ним бледная-бледная. Вся ее жизнь, вся ее пытливая душа, все это было во взгляде светлых, широко раскрытых застывших глаз... Кончив читать, Язон судорожно скомкал письмо. Дианира не видела его еще в таком гневе. Он задыхался, не будучи в состоянии вымолвить ни звука. И все, что было и в натуре, и в лице его восточного, знойно-полуденного, все это резко выступило наружу.

Еще не совсем овладев собой, он глухо, с усилием произнес:

— Ее счастье, что она женщина! Посмей это сделать мужчина, сегодня же, сегодня еще одного из нас не было бы на свете!

Она подошла к нему и нежно провела рукой по его голове.

— Язон, успокойтесь! Вы должны быть выше этого. С кем считаться? Она хотела меня унижить, оскорбить. Сначала мне в самом деле было больно и гадко, затем — затем я только пожалела ее. И какая все это ложь относительно вас.

— Елена, разве я не сказал вам все, не от-

крыл, не желая ничего таить от вас? До сих пор я сносил все с молчаливым презрением, пока это «все» касалось только меня, но раз она посягнула на ваше спокойствие, горе ей, горе всем тем, кто с ней! И если я не могу потребовать к ответу ее как женщину, мне ответит за себя и за нее Мекси.

— А я вас умоляю не предпринимать ничего! Поверьте мне, гордое презрение — лучшее оружие в таких случаях. Подумайте только: дуэль? С кем? С Мекси? Этим парвеню? Нет, нет, Язон! Успокоившись, вы сами скажете, что я права. А вот о чем я думаю. Может быть, действительно мне больше не следует выступать? Может быть, она искренне советует мне?

— Елена, опомнитесь! — горячо воскликнул он, схватив ее за руки. — Вы создали новый жанр, вы вызываете восхищение у людей, которые тонко понимают и чувствуют... Как это дико звучит: искренность и Фанарет! Она вся, вся пропитана ложью. Бешеной завистью продиктован этот лицемерный совет. Последуй бы вы ему, какое это было бы для нее торжество!

— Язон, вы меня любите, но любовь не должна быть слепа. Наоборот. Она должна быть искренней, до жестокого искренней. И во имя этой жестокой искренности... Я не кажусь вам смешной дилетанткой?

— Боже мой! Ну хорошо! Пусть я ослепленный чувством! Все, что вы — нахожу прекрасным, пусть! Но Барбасан? Этот человек редкого вкуса? А все остальные? Все, кто словно вдруг очнувшись от завораживающего экстаза, бешено вам рукоплещет? Убедил я вас? Есть еще место сомнениям? Лучший ваш ответ — это когда сегодня вечером она будет вновь сходить с ума от зависти. Это будет лучшая ваша месть этой женщине, залитой бриллиантами, как буддийский идол, и ничем не довольной, потому что в душе у нее, вместо искры Божьей, какая-то гниль...

15. НАПРАСНЫЕ МЕЧТЫ

Маврос поддерживал связь с Дистрией, частью через эмигрантов, живших за границей с первых же дней переворота, частью с теми, кто лишь за последнее время очутился за пределами ставшего республикой отечества.

Цель поддержки этой связи была двоякая: во-первых, князь вообще интересовался всем происходившим в Дистрии после того, как там пала монархия; во-вторых, пламенной его мечтой было увидеть Его Высочество на древнем троне тысячелетних предков, — князь не сомневался в конечном торжестве монархии и падении республики; и в-третьих он, Маврос, был озабочен своим именем, своими землями, составлявшими громадное богатство. Сейчас все это конфисковано...

Но Маврос с недоумением и грустью замечал, что Язон с каждым днем все менее и менее интересовался судьбой Дистрии и дистрийцев, пока это, в конце концов, не перешло в полное безразличие.

Прежде Язон еще кое-как выслушивал все

новости, которые сообщал ему князь, новости, пришедшие «оттуда». Это было в Париже, но в сан-себастианский период едва Маврос пытался коснуться прямо или даже косвенно Дистрии, он получал один и тот же ответ:

— Маврос, во имя нашей многолетней дружбы, раз навсегда прошу тебя, не напоминай мне о Дистрии. Я хочу забыть, что такое королевство когда-нибудь существовало. Не посвящай меня в твои, да и не только в твои, а чьи бы то ни было реставрационные планы. То, что я сейчас скажу, невозможно, но если бы весь народ, слышишь, весь как один человек, умолял меня надеть корону и править им и Дистрией, клянусь тебе, я не согласился бы!

— Но почему же, почему, Ваше Величество? — пробовал зацепиться Маврос за какую-то надежду.

— Да потому, что я глубоко разочаровался в народе, в том самом, который еще так недавно горячо любил и считал своим.

— Ваше Величество, народ никак нельзя обвинить в том, что произошло.

— Знаю, мой друг, знаю и согласен с тобой, что революционный переворот совершается

не большинством, а ничтожным меньшинством, часто какой-нибудь кучкой негодяев, знаю и все же не могу победить в себе чувства, высказанного только что... Не могу! Это одно. А затем, я потерял всякий вкус и аппетит к власти. Всюду, куда ни взглянешь, она так уронена, так втоптана в грязь, нет и следа прежнего обаяния. Самый яркий пример — бывшая Россия, те каторжники и убийцы, которые ею правят, и те, кто этих каторжников и убийц поспешил признать. Словом, я тебя очень прошу, не будем больше возвращаться к тяжелой и неприятной для меня теме.

— Ваше Величество, неужели?..

— Ты хочешь сказать, неужели я навсегда примирился со своим ампула наездника в цирке? Изволь, — нет, не примирился, хотя несколько не чувствую себя ни несчастным, ни жалким. Это переходное. А что будет дальше — не знаю. Может статься, уеду куда-нибудь далеко-далеко за океан и там, на чужбине, начну совсем новую жизнь.

Маврос, страдая молча, больше не возвращался к так мучившему его вопросу. Зная твердый, непреклонный характер своего

принца, он видел полную бесполезность всех дальнейших попыток. Несомненно, Язон глубоко безразличен к судьбе Дистрии и, в самом деле, потерял вкус и аппетит к власти.

И все-таки упрямый князь не сдавался.

Вынужденный оставить Язона в покое, он решил действовать и влиять с другой стороны. Он хотел сделать своей сообщницей Дианиру. Он сказал ей:

— Княжна, то, чего не дано нам, мужчинам, то дано вам, женщинам. Повлияйте на принца.

— В каком смысле?

— В таком, что когда пробьет час, а он пробьет несомненно, Его Величество, когда народ его позовет, взял бы власть в свои руки. Я его знаю с детских лет. Сочетание благородного сердца с сильной волей даст в его лице превосходного короля. Он вернет страну к счастью, и она вновь зацветет, как цвела при его державных предках.

Маврос говорил еще и еще, убедительно, горячо, но, увы, сочувствия не встретил.

Выслушав его, Дианира сказала:

— К сожалению, князь, я не могу вам со-

действовать.

— Не могу или не хочу? — почти с раздражением подхватил Маврос.

— И то, и другое, — не могу и не хочу! В беседах с принцем, вскользь, правда, мы касались этого вопроса, вопроса для него весьма наболевшего. Это рана незажившая, острая, и касаться ее не следует. Необходимо все предоставить времени, хотя сомневаюсь, чтобы вашу беззаветную преданность принцу... Я вполне вам сочувствую, но, к сожалению, решительно ничем не могу быть полезной. Кроме того, угодно вам выслушать мой личный взгляд?

— Очень прошу, княжна!

— Я, как вы знаете, — русская. На глазах моих рухнула величайшая империя. На глазах, почти на глазах, зверски замучена семья благороднейшего из монархов. Все это не могло не оставить глубоко неизгладимый след в душе. В результате, — это мое личное чувство, — презрение, презрение к народу, спокойно допустившему зверское убийство своего императора и не только не отомстившему убийцам, а почти десять лет находящемуся в

рабстве у этих самых убийц. Допустим недопустимое, допустим чудо: наследнику престола Алексею Николаевичу удалось с помощью Божьей спастись, вырасти и возмужать в недостижимом месте. За это время Россия очнулась, сбросила иго насильников и палачей и решила вновь вернуться к монархии. Я монархистка с ног до головы, но уверяю вас: я первая была бы против того, чтобы сын занял престол, огагранный кровью отца. Это было бы ужасно! Понимаете ли вы меня? Я говорю как женщина, и чувство двигает мною, а не холодный разум. Принц Язон очутился в таком же трагическом положении. Между ним и дистрийским народом — непроходимая бездна. Эта бездна — мученическая могила его отца. Князь, есть вещи, которых не забыть, не простить никогда! Никогда! — повторила девушка, и твердо, властно звучал ее голос, и не узнал Маврос ее добрых печальных глаз, теперь таких гневных, решительных, полных вызова и гордого презрения.

Захваченный, подавленный, Маврос молчал. Да и что, что он мог сказать на этот крик сердца? Правда, королева пластических поз

не убедила его. Он остался при своем мнении и, невзирая на все препятствия, и думать не хотел о том, чтобы сложить оружие, признав себя побежденным.

Маврос почти маниакальной энергией своей напоминал Медею Фанарет. И у него, и у нее центром мыслей и дум был принц Язон. Но как по-разному, как не похоже думали об этом человеке его адъютант и его недавняя любовница.

16. ЗАУР-БЕК ДЕЙСТВУЕТ РЕШИТЕЛЬНО

Как добросовестный немец, Ганс хотел честно заработать гонорар, обещанный Цером. Тем более, третью часть следуемого желтозубый Ганс успел получить в виде задатка.

Вообще, этот «шталмейстер» был лично-стью темной и с неведомым, по всей вероятности, малопочтенным прошлым.

Взят он был наспех в тот самый день, когда, уезжая в Сан-Себастиано, труппа оставляла Париж. Заболел конюх, и надо было кого-нибудь взять. А Ганс уже чуть ли не целый месяц обивал пороги и кулисы, и конюшни, и

даже директорского кабинета, предлагая и свои услуги, и себя самого.

На вопрос старого Гвидо, кем он был и чем занимался, Ганс не замедлил ответить: родом он эльзасец. Еще перед великой войной попал в Иностранный легион. Вместе с Легионом сражался в Македонии, был ранен и получил военный крест...

Эти клочки своей биографии Ганс не иллюстрировал ничем документальным, и фантазировал ли он или говорил правду, это всецело оставалось на его совести, если только вообще у него была совесть.

В цирке никто не питал к нему особенной симпатии: ни такие, как и он сам, «шталмейстеры», ни дирекция, ни артисты. С лошадьми он был жесток, и это бросалось в глаза, хотя жестокость свою Ганс проявлял исподтишка. И Заур-бек, и Фуэго, и Ренни Гварди запретили ему подходить близко даже к стойлам своих лошадей. И свою бессильную злобу Ганс вымещал на животных. Днем, улучив момент, когда не только в конюшнях никого не было, но и на манеже никого из артистов, Ганс бил ногой лошадей в брюхо или

рвал им пальцами ноздри — самое чувствительное место не только у одних лошадей.

Настал день парадного спектакля в присутствии испанского короля, а вместе с этим настал час и проделать задуманную пакость с лошадью принца Язона. Шталмейстер соображал так: надо все это выполнить с умом и выдержкой. Поспешив, можно все дело испортить. Было бы очень удобно ранним утром, но если всадить ранним утром гвоздь в копыто и Ренни Гварди вздумает после этого прорепетировать свой номер, гнусный трюк обнаружится и пропадет весь эффект вечернего скандала.

Расчет Ганса был правильный. Вообще Язон репетировал не каждый день, но ввиду исключительности представления он более получаса «работал» свою лошадь перед полуднем.

И когда не Ганс, а другой шталмейстер увел с арены лошадь в конюшню, Ганс похвалил себя мысленно.

— Умница! Надо все предвидеть.

А теперь действуй смело. Оставалось выждать самое глухое обеденное время от двух

до трех, когда в цирке не бывает ни души, за исключением разве сторожа, тихо дремлющего где-нибудь в уголке у черного выхода, так как парадный на эти часы запирается.

С опаской да с оглядкой Ганс пробрался в конюшню. Пофыркивали лошади в стойлах, и слабый, струившийся в квадратные оконца свет выхватывал из мягкого полумрака начищенные крупы лошадей, с хрустящим звуком жевавших овес.

Лошадь, которой Ганс хотел воткнуть занозу, подпустила его к себе не сразу. Она помнила удары ногой в живот. Ганс угостил сначала ее несколькими большими кусками сахара, а потом оглаживал, называя ласкательными именами. Теперь, уже не рискуя получить страшный удар задней ногой в лицо, можно было опуститься на колени и, приподняв одну из этих ног, быстрым нажимом пальца вогнать гвоздь в роговину копыта, выбрав точку, где соприкасаются с этой роговиной сухожилие, нервы и мясо.

Вынув из жилетного кармана гвоздь, держа левой рукой приподнятую ногу лошади, Ганс уже готов был совершить подлый свой

замысел.

И вдруг совершенно близко, где-то над ним, послышался знакомый гортанный голос:

— А, canaille... afrirouille... [10] Наконец-то я тебя поймал, негодяя!

Не успел Ганс подняться с колен, как Заур-бек вырвал у него из пальцев гвоздь, это вещественное доказательство. Следующим движением Заур-бек схватил Ганса за шиворот и так рванул вверх, что Ганс очутился в один миг на ногах и увидел совсем близко искаженное гневом лицо, типичное лицо янычара.

В свою очередь, бешенство овладело и Гансом, бешенство мерзавца, которому нечего больше терять. На лучший конец его просто выгонят, на худой — отдадут карабинерам.

Ганс, рванувшись, освободил свой ворот от сжимавших его рук кавказца. И, оскалив свои желтые зубы, Ганс нахально огрызнулся:

— Господин Заур-бек, вы не смеее со мной так обращаться! Я ничего такого не сделал.

— Ты ничего такого не сделал? А этот гвоздь? Ах ты, бандит!

— Не знаю, кто из нас двоих бандит! — с

вызовом бросил Ганс, понадеявшись на свою плотную фигуру, широкие плечи и дюжие кулаки.

А Заур-бек, подобно всем кавказским горцам, был тонок и сухощав, почти хрупок.

Но за этой обманчивой хрупкостью таилась цепкость хищника и упругая быстрота движений.

Ганс не только не успел взмахнуть кулаком, но даже защититься, как налетевший на него Заур-бек ударил его в лицо. Ганс пошатнулся, помутилось в глазах, из носу и разбитых губ пошла кровь. Он хотел броситься на Заур-бека — новый удар в грудь, в область сердца, почти лишил его сознания. И не схвати его кавказец за горло, Ганс упал бы.

— А теперь скажи, негодяй, кто тебя научил это сделать?

Окровавленные губы сначала зашевелились без звука, а потом глухо, как бы нехотя, Ганс, утратив всю свою наглость, ответил:

— Никто, я сам.

— Врешь! Говори! Иначе я буду тебя избивать, как последнего пса!

Эта перспектива не улыбалась Гансу. До-

вольно с него! Он и так недооценил этого хрупкого, с тонкой, как у девушки, талией, кавказца.

— Я и сам не знаю, как его зовут. Человек с большой головой, на лице шрам, а почему я знаю, кто он такой.

— На щеке шрам? Знаю! Больше ничего не надо. А теперь слушай, Ганс: чтобы духу твоего здесь не было! Понимаешь? С этой минуты ни ногой в цирк, иначе совсем плохо будет... Понял?

— Понял!

— Ну, то-то же! И чтобы никто не знал о твоей проделке. Особенно Ренни Гварди не должен знать ничего. Ступай и не показывайся. Слышишь?

— Слышу, а только... Если, если господин Барбасан схватится?

— Не твоя забота. Мы ему скажем: утонул, пошел купаться в море и утонул. Да и самое лучшее было бы утонуть такому мерзавцу, как ты! Ступай под кран, умойся и вон ко всем чертям!..

17. ПРЕСТУПЛЕНИЕ — НЕ ВСЕГДА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Вся труппа знала о том, какие отношения были между Язоном и Фанарет и какие отношения между ними теперь. Знали все, как Мекси, лишивший дистрийского наследного принца короны, преследует его. Маврос поспешил кой-кого, и в том числе Заур-бека, в историю бесценного ожерелья из скарабеев, включительно до похищения этих двадцати трех скарабеев личным секретарем Адольфа Мекси.

И, выслушивая эту эпопею, выходили из себя самые сдержанные, гневно сжимались самые миролюбивые кулаки. Более пылкие головы, ковбой Фуэго и кавказец Заур-бек, угрожающе требовали:

— Надо покончить с этой бандой! Надо навеки обезвредить ее, освободить нашего принца от этих моральных пыток!

Мудрено ли, что Заур-бек, поймав Ганса на месте преступления, дал волю своему темпераменту. Не совсем, впрочем! Жизнь в Европе, на этом «культурном Западе», повлияла

на страстную натуру лихого джигита в смысле некоторого обуздания. Случись это несколькими годами раньше, где-нибудь на Кавказе или даже в России, шталмейстер не отделался бы разбитой в кровь физиономией. Он лег бы на месте под ударом кинжала.

Часом позже Заур-бек спешно, как бы по тревоге, собрал у себя в номере гостиницы всех тех, кто был искренним другом принца Язона. Отсутствовал один Фазулла-Мирза, лежавший в постели второй день. Он простудился после купания в море в холодный вечер. Но принца Каджара не забыли. Постановлено было отправиться к нему с уже готовым решением.

Остальные же: Маврос, Фуэго, Бенедетти, включительно, разумеется, до Заур-бека, были все налицо.

Заур-бек гортанной манерой своей сделал сжатый, но выразительный доклад. Сцена расправы с Гансом имела успех несомненный, но все сошлись в одном:

— Мало этому негодяю, мало! Надо было его на всю жизнь искалечить!

Заур-бек с выразительной мимикой экс-

пансивных людей Востока и Юга, возразил:

— Господа, вы, ради Бога, не подумайте, что я его защищаю. Но только посудите, пожалуйста, зачем его надо было калечить? Ганс? Что такое Ганс? Ничтожество! Какой-то конюх несчастный! С него довольно! Я ему своротил переносицу! А вот добратся бы нам до главных виновников, вот до кого бы добратся! — и в голосе Заур-бека послышались рычащие нотки, а лицо приняло зловеще-жестокое выражение. Сейчас он походил на янычара более, чем когда бы то ни было.

— Заур-бек тысячу раз прав, — молвил князь Маврос. — Эта игра, игра на нервах, слишком затянулась. Пора сказать: довольно! и поставить точку!..

— Но как ее поставить? — спросил Бенедетти, ероша пальцами свои чудесные рыжие волосы.

— Мы убьем его, этого проклятого банкира, — со свойственной ему наивной пылкостью предложил Фуэго.

— Убьем! — скептически повторил Бенедетти. — Милый Фуэго, ты забываешь, что мы не в прериях Южной Америки, где до сих пор

не вывелся суд Линча, а находимся на одном из самых модных европейских курортов. Мы все очень любим Ренни Гварди, слов нет. Мы готовы ради него пойти на многое. Я думаю, все согласны с этим?

— Все, все, все!

— Но пойти на открытое убийство — это рисковать и своими головами и погубить дело Барбасана, которого мы все уважаем. Я только это и имею в виду. Что же касается моральной стороны, здесь не может быть и речи о каких бы то ни было угрызениях совести. Этот Мекси — один из величайших мировых пауков. Многих он разорил, еще большее количество физически погубил, и трудно сказать, чего больше на нем: людских ли слез, людской ли крови? Вернее, того и другого достаточно! По нем давно тоскует веревка. Не пуля, не кинжал, а именно веревка. Я думаю, возражений не последует никаких, друзья мои?

— Никаких! Прав, тысячу раз прав Бенедетти! Он высказал именно то, что мы уже давно думаем.

— Польщен, весьма польщен таким трога-

тельным единоклассником! Значит, принципиально Мекси осужден? Смерть ему?

— Смерть, смерть, смерть! — отозвалось эхом.

— Великолепно! Ничего другого я и не ожидал. Но прежде, чем говорить об осуществлении, так сказать, о технической стороне, я предложу один вопрос: Медея? Должна ли она разделить участь Мекси? Я думаю, нет! Как-никак, она женщина, хоть и преподающая, но женщина! У меня, например, не поднялась бы рука. Что, вы согласны? До чего я рад! Мы спелись, как один! Мы даже одинаково думаем. Итак, черт с ней, с этой негодной тварью!

Сделав паузу, Бенедетти закурил тоненькую сигаретку. Все молча смотрели на него; так смотрели, как если бы он, по крайней мере, был дельфийским оракулом. Да и в самом деле, сию минуту, сейчас от него ждали откровений.

— Вы что-то надумали? — с волнением, дрожащим голосом спросил князь Маврос, самый близкий человек к Язону и ближе всех заинтересованный в ликвидации Мекси.

— Я надумал. Мой план таков: преступная голова банкира не стоит ни одной из наших честных голов и поэтому отправить его из барьерной ложи в царство теней, в преисподнюю надобно так, чтобы... Впрочем, вы сами увидите. Мне пришла мысль, друзья, несколько символизировать наш трюк: мой и Фуэго. Понимаете? Смекаете? По вашим глазам я вижу, что вы начинаете смекать.

И действительно, у всех лихорадочно работала мысль; что-то страшное, жуткое, пока еще недоговоренное было предметом этой необычайной работы. Бенедетти улыбался, как улыбается художник, собираясь несколькими ударами кисти закончить картину, хотя и вызывающую восторг зрителей, но пока еще хаотическую.

— В ожидании, пока Фуэго поймает меня своей беспощадной петлей, ваш покорный слуга становится где попало у барьера, в любом месте. На этот же раз я стану у барьерной ложи, рядом с Мекси. Наш Фуэго владеет своим лассо, как бог, но и боги погрешимы, и они ошибаются. На этот раз ошибется и Фуэго, и петля его, вместо того, чтобы захлестнуть

мою шею, захлестнет шею банкира. А дальше, дальше комментарии излишни, как принято писать в газетах. С Фуэго же взятки гладки. Роковая ошибка, не более. Даже в полицию не пригласят для объяснения. Весь центр тяжести в том, согласен ли Фуэго?

— Что за вопрос? — обиделся ковбой. — Конечно! Хороший я был бы товарищ? Я с молоком матери впитал чувство самой лютой, самой беспощадной мести. Неумолим закон прерий — око за око, зуб за зуб, кровь за кровь.

У Фуэго пересохло в горле. Он встал, налил из графина воды и выпил залпом весь стакан.

Четыре человека затаились под гнетом вынесенного приговора. В комнате бесшумно очутился траурный призрак, и холодом веяло от его черных крыльев.

Имя этому призраку — смерть...

18. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОЛЮБИЕ КОВБОЯ ЗАДЕТО...

По тому, как он председательствовал на этом маленьком военном совете, как он смело и прямо подошел к изъятию Адольфа Мекси из обращения, можно было подумать, что Бенедетти был мягче душой, нежнее всех остальных заговорщиков.

И это не замедлило сказаться.

Через несколько минут Бенедетти сам испугался так мастерски набросанной им картины.

Спокойно, почти весело, обдумал он убийство, в котором сам будет принимать участие. Но совсем в другом духе высказался немного позже:

— То, что мы задумали, господа, — ужасно! Слов нет, Мекси негодяй и бандит, но все же, все же он человек.

— Нет, не человек! Нет! — пылко возразил Маврос. — Это изверг, негодяй! Если бы вы знали всю его биографию... Да зачем всю? Десятой доли вполне хватит, чтобы подвергнуть его самым жестоким пыткам.

— Да, но все-таки, все-таки...

— Что все-таки? — набросился Фуэго. — Э, милый друг, ты уже начинаешь впадать в сентиментальность... Вообще вы, клоуны, все вы — народ сентиментальный. Очень уж чувствительные у вас души! Но только, дружище, этот номер не пройдет! Пути отступления отрезаны. Месть — мостью, мы все готовы грудью встать за нашего Ренни Гварди, но не скрою еще, что ты, Бенедетти, разжег меня как профессионала. Этот тяжелый Мекси с короткой шеей будет для меня серьезной тренировкой, испытанием, экзаменом, как хочешь назови. В самом деле, господа! Накинуть на него петлю — это легко, но обвить его шею веревочным галстуком уже значительно труднее! И не менее трудно, пожалуй, еще труднее — одним стремительным движением вырвать эту тяжелую тушу из ложи, вырвать так, чтобы она перескочила через барьер. Только после этого Мекси будет в полной моей власти. Нет, я ни за что не откажусь. Но ты, ты, неужели ты готов смалодушничать? Я не могу настаивать, у всякого своя воля, но в таком случае заяви честно: не могу. Скажись

на сегодняшний вечер больным и тебя заменит кто-нибудь другой.

— Я готов! — вызвался кавказец.

— Но почему же непременно сегодня? Отчего не в один из ближайших дней? — пытался оттянуть роковой момент Бенедетти.

Здесь все накинулись на него, и горячий всех князь Маврос:

— Это невозможно! Бенедетти, дорогой, опомнитесь! Сегодня, я уверен, Мекси будет в цирке! Будет! Ведь он уверен в том, что будет свидетелем посрамления того, кого он так ненавидит.

— Ничуть! Ошибаетесь, князь, — возразил Бенедетти. — После того как Заур-бек побил Ганса, провал всей затеи не является секретом для Мекси и его банды.

— Бенедетти, ошибаетесь вы! Мекси с его бандой ничего и не подозревают. Я позаботился об этом. Ганс, еще «тепленький», тотчас же по выходе из цирка был подхвачен и упрятан мною в весьма надежное местечко.

— Я этого не знал, — вырвалось у Бенедетти полунерешительно, полувиновато.

— Вот видите, как после этого резко меня-

ется картина. Сегодня Мекси будет, на отсечение голову дам, будет! Но будет ли он завтра? Придет ли вообще когда-нибудь? Этого никто не знает! Мало ли какая фантазия взбредет ему? Наконец, он может заболеть, может уехать. Понимаете, каким было бы кошмаром — упустить редкий, единственный случай! Я не простил бы ни вам, ни себе... Нет, нет, я и думать не хочу, так это ужасно! Бенедетти, я взываю к вашей чуткости, к вашим порядочности и уму. Ведь вы же итальянец, — страстно звучал голос князя, и Бенедетти не мог не поддаться властному обаянию этого сильного человека.

— Хорошо, я согласен! — тихо, но твердо, решительно вымолвил он.

Фуэго со свойственной ему экспансивностью бросился обнимать и целовать своего друга.

— Я так и ожидал, что ты в конце концов согласишься. Иначе ты не был бы самым собою. Не был бы моим славным дорогим Бенедетти!

Заур-бек и князь Маврос выразили более сдержанно свою признательность клоуну за

его готовность помочь им всем в осуществлении приговора над Мекси.

— Вы только подумайте, — говорил Маврос, — какой вздох облегчения вылетит у всех нас при одной мысли, что этого злого гения уже нет больше! Принц Язон горд и умеет хранить в тайниках благородной души своей тяжелые, мучительные переживания. Сколько нравственных мук вытерпел он от Мекси и по его злой сатанинской воле! Хорошо зная принца, я все же удивляюсь поразительной выдержке его. Во время представления я каждый раз следил за ним с болью в сердце. И никогда ни один мускул не дрогнул на его лице, никогда, слышите? А он и чувствовал, и видел присутствие в цирке этого негодяя и этой подлой твари, его сообщницы. Я пытался вообразить себя хотя бы на миг на месте принца, у меня не хватило бы и сотой доли его колоссальной выдержки, его поистине царственного презрения. Клянусь, не хватило бы! Я подстерег бы Мекси у выхода из цирка и тут же, при публике дал бы ей новое зрелище, бесплатное, после которого физиономия дистрийского волшебника являла бы собой све-

жий кровавый бифштекс, а от моего стека у меня в руке осталась бы одна только рукоятка. Он же молчал и терпел, терпел и молчал! Смирение, скажете вы? Нет, не смирение, а подвиг и то бесконечное презрение к своему врагу, которое дается не всякому, а для которого нужно иметь в жилах своих голубую королевскую кровь. Уверяю вас, господа, сегодняшний вечер будет счастливейшим в моей жизни! Ради него я готов забыть все неисчислимые потери, испытания нравственные и материальные, понесенные мной. Готов забыть всю горечь бесприютной скитальческой жизни. Готов... Одним словом, Фуэго и Бенедетти, я, Анилл Маврос, отныне ваш вечный неоплатный должник. Нет жертвы, на которую по первому вашему слову я не ринулся бы, очертя голову. Фуэго и Бенедетти обняли князя с двух сторон.

— Полноте, князь, чем больше вы говорите от всей вашей пламенной души, тем более нам делается совестно. Вы знаете, как мы горячо симпатизируем принцу. И мы счастливы, наконец, на деле, а не на словах показать ему наши симпатии...

Это говорил Бенедетти. Ковбой хотел еще от себя что-то прибавить, но вдруг затих как-то, руки его, сжимавшие руку князя Мавроса, опустились.

— Что с вами, Фуэго?

— Что со мной? Как вам сказать? Меня, меня охватило сомнение. А что если мне изменят рука и глаз, и трюк с этим Мекси не удастся? Это было бы ужасно!

— Это было бы так ужасно, — почти с испугом подхватил Маврос, багровея, и с блеском в глазах, — это я не перенес бы!

Холодом повеяло от этого: «Не перенес бы».

— Фуэго, вы не усомнились в себе, нет? Вы этого не сказали, вы ничего не сказали! Успокойтесь же, умоляю вас! — и, крепко сжав плечи ковбоя сильными руками своими, князь Маврос с мучительной тоской в глазах ждал ответа.

И Фуэго ответил с наивностью полудикого наездника прерий:

— Нет, ничего, ничего! Я думаю, Фуэго не посрамит себя. Перед этим я горячо помолюсь Заступнице Марии Пречистой Деве и святому Антонию Падуанскому. Они вдохновят меня

на это правое дело. Я всегда молился им, и всегда сопровождала меня удача. Неужели на этот раз они отвернутся от меня? — и уже совсем другим, обычным, немного озабоченным шепотом Фуэго кончил: — Эх, как хорошо было бы прорепетировать. Сейчас же, хотя бы. Пойти в цирк, посадить Бенедетти в ложу и... Самое главное, самое трудное — это преодолеть барьер... Но, увы, о репетиции и думать нечего. Я не во всех так уверен, как в вас. Нет, ничего, сойдет. Я постараюсь!..

19. ГЛАВА ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

К свергнутым королям и принцам дистрийский волшебник относился, как мы знаем уже, весьма свысока. Другое дело — короли, которые еще сидели на престолах и на головах которых еще держались короны. В душе Мекси ненавидел их ненавистью разбогатевшего хундордного плебея. В душе... Внешне же, внешне был бы весьма польщен милостивым пожатием руки Его Величества или Его Высочества при условии, что и Величество, и Высочество еще в полном блеске своего обаяния и своего титула и могут давать чины,

звезды, титулы и придворные звания.

Мекси не имел никаких данных быть представленным испанскому монарху, но одна мысль, что король Альфонс, может быть, сегодня вечером посетит цирк, одна эта мысль заставила дистрийского волшебника тщательнее обыкновенного заняться своим послеобеденным туалетом.

Парикмахер-француз, приезжающий на гастроль из Парижа в Сан-Себастиано на весь летний сезон, добрый час провозился над особой Адольфа Мекси. Он выбрил до глянца бульдожье лицо, потом вспрыскивал это лицо несколькими душистыми эссенциями, потом долго, старательно, нежно, чуть-чуть касаясь, вытирал белым, как снег, полотенцем. Затем полотенце в течение, по крайней мере, двух минут являлось в искусных руках парижского брадобрея каким-то дающим прохладу и свежесть опахалом. Да, целых две минуты маленький, гибкий, худенький и льстивый фигаро с бульвара Фридланд обмахивал полотенцем мягкие, совсем не классические черты банкира.

— Монсеньору не холодно? Я спрашиваю

потому, что у монсеньора на редкость чувствительная кожа. Я такой не встречал! И я хочу ослабить действие острых эссенций. А теперь, теперь и попудрить слегка. Потом мы сделаем паузу. Монсеньор посидит с пудрой минут пять. Это придаст коже особенную интересную матовость. Надо потерпеть, монсеньор. «Pour être beau il faut souffrir [11]», говорят мои компатриоты...

Эти манипуляции и этот разговор, вернее, эта болтовня француза, ибо Мекси хранил молчание, считая ниже своего достоинства отвечать на подобострастный лепет брадобрея, конечно, происходили в апартаментах дистрийского волшебника. Конечно, так как волшебник не унизился бы до посещения парикмахерской. Да и в парикмахерской надо быть одетым, а у себя волшебник сидел раздетый, в шелковом тончайшем халате, прямо на голое тело.

Покончив с лицом, парикмахер занялся головой. Разделив ее пополам сквозным английским пробором, смочил волосы густым пахучим лосьоном и уже после этого работал тяжелыми круглыми щетками. Когда причес-

ка, точно вылизанная, жирно, волосок к волоску, лоснилась, парикмахер, туго обвязав голову своего клиента, посоветовал ему:

— Монсеньор посидит так с четверть часика...

Все эти маленькие истязания Адольф Мекси терпеливо сносил. Нельзя иначе. Сегодня он должен быть особенно красив. Вообще, сегодняшний вечер сулит интересные впечатления. Пожалуй, после спектакля Барбасан, сконфуженный тем, что произойдет с Язоном, швырнет ему неустойку и потребует считать контракт недействительным...

Из рук парикмахера Адольф Мекси перешел в руки столь же опытного в своем деле камердинера. Но, чтобы использовать процесс одевания в смокинг, дистрийский волшебник потребовал к себе метрдотеля. Дистрийский волшебник предвидел, что после цирка у него будет хороший аппетит, и решил позаботиться о меню своего ужина.

Вставляя запонки в твердый пластрон девственной белизной сверкающей сорочки, Мекси спросил почтительно изогнувшегося перед ним метрдотеля:

— Что бы такое сегодня вечером съесть?

— Я позволю себе посоветовать монсеньору скушать «канард а ля пресс». Очень изысканное блюдо.

— Вы советуете? — переспросил дистрийский волшебник, стесняясь обнаружить свое гастрономическое невежество. Он понятия не имел, что такое «канард а ля пресс». Заметивший это метрдотель притворился «не заметившим». Он был дипломатом, как все слуги хороших домов и первоклассных отелей.

— Монсеньор, наверное, изволил кушать, но ввиду того, что «канард а ля пресс» имеет несколько вариантов, я возьму на себя смелость предложить следующий вариант, который был любимейшим покойного короля Эдуарда VII. Подается к столу руанская утка, чуточку не дожаренная. Тут же срезаваются с нее все мягкие части — это я сделаю лично — и кладутся на блюдо. Одновременно подается на стол особый механизм. Внутрь этого механизма я кладу оставшийся «каркас» утки. Пресс сильного давления начинает действовать и до того сжимает каркас, что жирный вкусный питательный сок из мяса и ко-

стей наполняет миниатюрный резервуар. Затем блюдо с мясом утки ставится на спиртовую машинку и поливается добытым через пресс жирным соком. Если прибавить к этому несколько десятков капель белого вина, получится шедевр! Смею уверить монсеньора, шедевр!

— С этим вариантом я не знаком. Должно быть, очень вкусно?

— Монсеньор прикажет?

— Да!..

Уже во всем великолепии своего лондонского смокинга Мекси хотел пройти на половину Медеи. Она прислала сказать, что уже готова и ждет.

На пути вынырнул Арон Цер.

— Я пришел окончательно доложить: все в порядке. Шталмейстер получил утром от меня все остальное и отправился в цирк, чтобы выполнить свое обязательство. Сегодня патрон будет смеяться, как никогда! Хотел бы я видеть физиономию господина Ренни Гварди! О, я думаю, его олимпийское величие как рукой снимет, едва лошадь начнет хромать и выкидывать всякие такие штучки...

— Посмотрим, посмотрим, забавно! Я спешу, Церини.

С Фанарет дистрийский волшебник был словоохотливее:

— Какой потрясающий туалет! Замечательно вам идет. Не совсем по-летнему, немного тяжеловато, но величественно. Вы будете как герцогиня! С такой дамой лестно посидеть в ложе. Церини все устроил, все подготовил. Бедный принц! Вам его не жаль?

— Ничуть!

— Мне тоже. Знаете, что я вам скажу? Это наш последний выезд в цирк. Довольно! Я уже объелся и нашей мезью, и всем! И вообще, мы уедем куда-нибудь отсюда. Вы согласны?

— Увидим...

— А после цирка я вас угощу моим любимым блюдом, моим и еще короля Эдуарда VII. Это «канард а ля пресс».

— Не знаю.

— Как, вы не знаете, что такое «канард а ля пресс»? Такая шикарная женщина и не знает! Вам подают на стол руанскую утку и особый механизм сильнейшего давления, — пресс.

Метрдотель вооружается острым, как бритва, ножом и, священнодействуя, начинает резать тонкими ломтями утку. Но вы не слушаете? А между тем это очень интересно.

— Как для кого! Я буду с удовольствием есть вашу «канард а ля пресс», но от ваших кулинарных лекций избавьте! Все мои мысли там. Я горю нетерпением...

— Я тоже. Чтобы как-нибудь убить время, поедем к началу. Машина уже подана, я приказал. А вы знаете, королевская ложа напротив нашей. Если будет король, этот Фуэго, как испанец, хотя и американский, постарается особенно блеснуть. Воображаю, как будет кувиркаться Бенедетти с петлей на шее? Нет, нет, все это будет очень, очень интересно! Последний вечер — и баста! Повторяю, ваш почкорный слуга объелся цирком... Надо будет заняться делами. У меня новые грандиозные планы. И вы, вы будете моей вдохновительницей...

20. РОКОВАЯ ОШИБКА

Вряд ли еще когда-нибудь, где-нибудь, какой-нибудь цирк привлекал такое количество блестящей титулованной публики. Собралась почти вся международная и испанская знать, веселившаяся в это время в Сан-Себастиане.

Конечно, главной приманкой был обворожительный король Альфонс, ко всеобщему разочарованию в цирк не явившийся. По слухам, дела большой политической важности задержали его в Мадриде, откуда через несколько дней он выедет сначала в Париж, потом в Лондон, опять-таки в связи с высшей политикой.

Велико было разочарование дам, одетых в открытые бальные платья и сверкающих наготой рук и плеч, словно в большой Опере на каком-нибудь парадном спектакле. Кавалеры в смокингах и цилиндрах чувствовали себя сконфуженными и неловко.

Мекси и Медея не только не являли собой исключения, а досадовали, пожалуй, больше всех, созерцая пустую королевскую ложу, ко-

горая, по желанию Барбасана, никому не была продана в этот вечер из особого почтения к тому, кто должен был ее украшать.

Началась программа. Шли одно за другим выступления, и мало-помалу приподнималось упавшее было настроение. Вечер был душен сам по себе, а тут еще нагревали цирк большие электрические фонари молочного цвета...

Фанарет, задыхавшаяся в своих тяжелых доспехах, чувствуя, как слой пудры и косметиков, покрывавший лицо, становится влажным и, того и гляди, потечет, злилась:

— Безобразие! Если бы я наверное знала, что его не будет, оделась бы гораздо легче и проще!..

Мекси ничего не мог ей сказать в утешение. Не только твердый воротничок его раскис и размяк, но и сам дистрийский волшебник раскис. В туго затянутом жилете он чувствовал себя, как в кирасе, хотя никогда не носил кирасы. Цилиндр давил голову. Банкир снял цилиндр, и все-таки с лица и головы ручьями струился пот, уничтожая парикмахерскую прическу.

— Невыносимо! Это какая-то баня, — шипел Мекси. — С удовольствием плюнул бы и ушел, если бы не...

— Сидите и молчите! — оборвала Фанарет.

— Сижу, сижу, не волнуйтесь! Но имейте в виду: последний раз!

— Да, да, последний! Взгляните лучше на Мавроса. Глаз не спускает с нашей ложи. И какие хищные глаза! Если бы они могли убивать, нас с вами не было бы уже на свете. Впрочем, если бы с ним поменялись ролями, и мое кольцо очутилось бы у него, я...

— Тише, тише! Как неосторожно, — и Мекси, хотя и знавший на память программу, взглянул в нее.

— Сейчас Фуэго и Бенедетти. Дальше какая-то чепуха, и потом Язон. И не подозревает, какой ждет его провал. Как вы думаете, будут ему шикать?

— Не знаю, как другие, я же буду.

Одетый настоящим, а не цирковым ковбоем, вынесся Фуэго на своем горячем мустанге и, выкрикивая что-то дикое, полное степной удали, помчался карьером под звуки галопа. Дальше вольтижировка, дальше покорное

лассо начало принимать самые невозможные формы и линии в воздухе.

Публика сдержанно аплодировала, весь свой энтузиазм приберегая напоследок.

А Бенедетти, засунув руки в бездонные карманы своих широчайших клоунских панталон, с рассеянным видом, словно разглядывая верхи амфитеатра, медленно прогуливался не по арене вдоль барьера, не в проходе за барьером, а по самому барьеру.

Это было ново, и зрители предвкушали, что в трюк с петлей будет внесено какое-то разнообразие.

По временам Бенедетти останавливался. Так остановился он и против ложи банкира-миллиардера. Взгляды их невольно встретились. Необъяснимо-жуткое ощущение охватило Мекси. Невыносимо-пристален и загадочен был взгляд Бенедетти, этот взгляд на фоне густо набеленного лица, неподвижно мертвого, как гипсовая маска. И было впечатление, что в пустые глазницы этой гипсовой маски вделаны живые настоящие глаза...

Вновь что-то дикое, степное прокричал несшийся вихрем Фуэго, и просвистело, раз-

резая воздух, его молниеносно-упругое лассо.

Бенедетти, притворившись, что в паническом испуге желает спастись от неминуемого веревочного галстука, прыгнул с барьера, чуть ли не в самую ложу Мекси, и на один миг две головы, банкирская в цилиндре и клоунская в остром белом войлочном колпаке, очутились рядом.

И случившееся вслед за этим было так неожиданно, так чудовищно неожиданно, что в первые две секунды никто не поверил глазам. Все подумали, что это обман зрения. И только когда Бенедетти остался на месте, а банкир, словно подброшенный стихийной силой, описав своим тучным телом дугу и оказавшись по ту сторону барьера, подпрыгивая и купаясь в песке арены, уже волочился с обнаженной головой, потеряв цилиндр, замчавшимся всадником, все поняли роковую ошибку. И в то же время какой-то столбняк овладел тысячной толпой. Вначале никто не шелохнулся, никакой звук не вырвался ни из чьей груди. А каждая секунда промедления грозила гибелью человеку в смокинге, нелепо махавшему руками, пытавшемуся ухватиться

за что-нибудь. Ковбой, не оглядываясь, делал уже третий или четвертый круг со своим живым, вероятно, еще живым трофеем.

Первыми опомнились Барбасан и одетые в униформу артисты, не посвященные в заговор.

Барбасан кричал:

— Фуэго, Фуэго, остановитесь!

Но Фуэго не слышал. Безумная скачка продолжалась. Один конец лассо был приторочен к седлу, на другом подпрыгивал черный человеческий комок, весь перепачканный в песке.

— Остановите же, остановите безумца!

Воздушный гимнаст, один из братьев Аниоли, гигантским прыжком очутился на арене и, побежав рядом с лошадей, поймав темп и ухватившись за уздечку у самой морды, поджав колени, повис и тяжестью своего тела замедлил бег мустанга. И только тогда Фуэго, натянув повод, остановил свою лошадь. Фуэго великолепно разыграл роль ничего не понимающего. Оглянувшись и увидев на конце веревки вместо Бенедетти совсем другого, он так вскрикнул, так схватился за

голову, изобразил такой ужас; все зрители, как один человек, поняли степень его горя. Никто не успел заметить, как уже Фуэго стоял на коленях над распростертым на песке миллиардером и снимал с его шеи петлю.

Петлю смерти. Да, смерти, ибо миллиардер был уже мертв. По крайней мере, у врача, оказавшегося в цирке и вместе с публикой хлынувшего на манеж, не было никаких сомнений.

Он проделал все, что в данных случаях проделывается, то есть когда человек повесился, повешен другими или удушен петлей.

Врач пощупал пульс, пульс уже не бился. Приподнял веки, тускл и неподвижен был взгляд уже застеклившихся глаз...

Медея, еще минуту назад величественная, как герцогиня, теперь со съехавшей на бок шляпой, растерзанная, постаревшая, допытывалась у врача, цепляясь за его руки:

— Доктор, скажите, он еще не... Еще есть какая-нибудь надежда?

— Увы, мадам, увы, — отвечал доктор, пятясь от энергично атаковавшей его Фанарет.

— Доктор, спасите его, спасите! Я вам за-

плачу миллион песет, слышите, миллион!
Спасите же его!

— Мадам, не только я, никакие медицинские светила... Поздно! Один Господь мог бы воскресить вашего... вашего супруга, — запнувшись, сказал врач. — У меня есть основания утверждать, — вскрытие убедит всех, что ваш супруг еще до самого удушения скончался от разрыва сердца.

На арене появился комиссар в штатском и карабинеры в треуголках. Карабинеры силой удалили с арены публику. И Фанарет хотели удалить, но она запротестовала:

— Это мой муж! Слышите, мой муж!

После такого заявления Медею не тронули.

Адольф Мекси лежал на песке. Он успел потерять во время своей бешеной скачки за всадником одну из своих бальных лакированных туфель, и его нога в шелковом черном носке уже начала деревенеть и затвердевать, как у трупа. Да он и был уже трупом, этот дистрийский волшебник, такой могущественный своим золотом, своими миллиардами, спасавший от банкротства целые страны, свергавший королей, а теперь сам повержен-

ный в прах на арене странствующего цирка.

Зрители в панике разбегались, не расходились, а разбегались, толкая и давя друг друга.

Комиссар, бритый, жгучий брюнет, с внешностью андалузского прелата, в маленьком директорском кабинетике допрашивал Фуэго в присутствии Барбасана, Бенедетти, Заурбека и еще нескольких артистов.

Перед комиссаром лежала чистая бумага, в руке он держал «вечное» перо, уже потому хотя бы вечное, что оно переживает многих самых сильных, самых живучих людей.

Комиссар начал с неизбежных формальностей. Записал имя Фуэго, его возраст, кем были и чем занимались его родители. Отметил город, где он впервые увидел свет.

Обстоятельно, толково, не волнуясь, отвечал Фуэго на все вопросы.

Пока дело касалось необходимых скучных формальностей, комиссар не смотрел на Фуэго, даже как будто не замечал его. Когда же от биографии ковбоя комиссар перешел к катастрофе, полицейский чиновник с внешностью прелата вперил свой жгучий взор в открытое гримом, подрумяненное лицо Фуэго.

— Вы знаете человека, павшего жертвой вашей... вашего... — комиссар подыскивал выражение, — вашего бессознательного преступления?

— Не имею понятия, господин комиссар.

— Как, вы не знаете, что это был знаменитый банкир Адольф Мекси?

— Откуда же мне знать, господин комиссар. Я интересуюсь работой своею в цирке, своей лошадьёю и что мне до знаменитых банкиров? Денег они все равно не дадут мне...

— Нельзя ли без шуточек? — сдвинулись комиссарские брови.

— Я совсем не шучу, господин комиссар. Какие же могут быть шутки с начальством?

— Довольно, довольно. Потрудитесь отвечать на вопросы.

— Я готов, господин комиссар.

— Ну и наделали же вы нам хлопот! Ни в каких личных отношениях вы с покойным не состояли?

— Какие же отношения, господин комиссар, когда я понятия о нем не имел. Это может быть установлено свидетельскими показаниями.

— Но почему же именно Адольфа Мекси постигла такая участь?

— Господин комиссар, она могла постичь и всякого другого, даже и вас, если бы вы очутились рядом с Бенедетти.

— Благодарю покорно! — с язвительной улыбкой отвечал комиссар, невольно ощутив холодок в спине. — Благодарю покорно, этого только недоставало! Теперь скажите мне следующее. Я часто бываю в цирке и вижу вашу работу. Вы никогда не делаете промахов, почему же вы промахнулись теперь?

— Господин комиссар, надо же когда-нибудь промахнуться. В нашем деле без этого невозможно, и человек, и его руки — не машина. Да и машина иногда спотыкается.

— Итак, случившееся вы приписываете несчастному случаю?

— Только несчастному случаю, господин комиссар.

— Но почему вы ни разу не оглянулись? Сделай вы это, вы увидели бы свою ошибку.

— Я никогда не оглядываюсь, господин комиссар. Это испортило бы мне весь эффект. Ковбой оглядывается, значит, не уверен в се-

бе. А ковбой должен быть уверен в себе. Только тогда он выгодно «продаст» свой номер.

Комиссар опустив голову, обдумывал что-то, затем вскинул глаза.

— Господин Бенедетти!

— Есть, господин комиссар! — и клоун с густо набеленным лицом под войлочным колпаком приблизился к столу.

— Почему вы остановились именно около ложи господина Мекси?

— Господин комиссар, с таким же успехом я мог бы задержаться у всякой другой ложи.

— Вы знали банкира в лицо? Имели с ним какие-нибудь отношения?

— Господин комиссар, какие же могут быть отношения между бедным клоуном и богатым банкиром? В его глазах я был жалким шутком, забавлявшим его в часы пищеварительного процесса.

— Попробуйте воздерживаться от этих красочных добавлений.

— Буду воздерживаться, господин комиссар.

— Скажите, скажите мне, почему вы прыгнули с барьера вниз?

— Я должен был сделать вид, что спасаюсь от петли.

— Но вы не всегда поступаете так?

— Не всегда, господин комиссар. Я каждый раз варьирую наш трюк.

— Довольно, я больше ничего не имею. Во всяком случае, и вам, Фуэго, и вам, Бенедетта, в Сан-Себастиане, да и вообще на испанской территории ваш трюк будет запрещен.

— Мы подчиняемся, — покорно заявил Бенедетта.

— Еще бы вы не подчинились! Сегодня же я донесу до начальства. Не знаю, как оно посмотрит. Очень может быть, вам предложат покинуть немедленно же границы королевства...

— Мы безропотно, но не без сожаления подчинимся этому. Мы любим Испанию, это наша латинская сестра, — молвил Бенедетта.

Комиссар пропустил это мимо ушей. Он встал, заявив:

— В восемь часов утра прошу обоих в мое бюро. В моем присутствии мой письмоводитель составит подробный протокол.

Едва очутившись за дверью, комиссар по-

пал в железное кольцо газетных корреспондентов.

— Господа, мой служебный долг запрещает...

Но корреспонденты слушать ничего не хотели:

— Интервью, господин комиссар, интервью!

— Господин комиссар, это же мировая сенсация, а вы ссылаетесь на какой-то...

Разом все смолкло, и все головы обнажились. Два санитары на госпитальных носилках, в сопровождении двух карабинеров, покидали цирк с телом Адольфа Мекси. С головы до ног оно было покрыто одеялом.

А в то самое время лакеи под наблюдением метрдотеля сервировали стол, украшая его цветами. И когда все было готово, метрдотель спустился вниз в кухню взглянуть, как справляется повар с зажаренной для Мекси руанской уткой.

Так я не привелось дистрийскому волшебнику отведать блюдо, называющееся «канарда ля пресс».

21. ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Весть о внезапном трагическом конце Адольфа Мекси произвела ошеломляющее впечатление не только в Испании, не только во Франции, а и во всем мире, ибо весь мир знал, если и не по деяниям, то понаслышке банкира, не уступавшего ни по богатству, ни по масштабу финансовых операций своих Мендельсонам и Ротшильдам.

Человек, потрясавший биржей, человек, делавший финансовую погоду, ронявший и поднимавший курс валюты, человек, в двадцать четыре часа свергнувший тысячелетнюю монархию, этот человек должен был умереть много лет спустя где-нибудь в Ницце, с несколькими медицинскими светилами у изголовья широкой кровати под балдахином. И вместо Ниццы, вместо широкой кровати под балдахином, вместо медицинских светил — арена, где смешались в одно опилки, навоз и песок. И ко всему этому удушение от петли — одна из самых плебейских насильственных смертей. Какой нелепый кошмар! Какая жестокая ирония судьбы!

Так или приблизительно так заканчивали в газетах некрологи, посвященные Адольфу Мекси. В этих некрологах по большей части превозносился дистрийский волшебник. Курился фимиам продажной лести, пелись дифирамбы всестороннему гению покойного, его филантропическим чувствам, его скромности и тому, какие громадные суммы расходовал он ежегодно, ежемесячно даже на благотворительность.

Переход Мекси в небытие тотчас же откликнулся в Дистрии.

Несметные богатства дистрийского волшебника, движимые и недвижимые, подземные и надземные, унаследовала кучка дальних темных родственников. При жизни Мекси и близко не подпускал их к себе, ограничиваясь подачками.

Врач, атакованный Медеей Фанарет у еще теплого трупа Мекси, не ошибся. По вскрытии установлено было, что сначала Мекси умер от разрыва сердца, а уж потом, через несколько секунд был задушен петлей. Хирургам, делавшим вскрытие, Фанарет не давала покоя вопросами:

— А что, если б выдержало сердце Мекси, был бы он спасен в тот момент, когда с него сняли петлю?

Ответ Медея получила отрицательный. Даже и в том случае, если бы не изменило сердце, все счета с жизнью были бы кончены бесповоротно.

Что руководило Медеей в этих столь же мучительных, сколь и бесполезных попытках проникнуть в тайну смерти своего любовника? Чувство? Сильное чувство? Не только сильного чувства, а и чувства вообще не было и в помине. Вначале Фанарет как будто бы увлеклась Адольфом Мекси как натурой властной и сильной, опьяненная его успехом в Дистрии, когда он совершил переворот с чуть ли не молниеносной стремительностью. Да, это было вначале, а потом, потом Медея, охладев к банкиру, увлеклась уже тем блеском и теми благами материальными, которые он мог ей дать. Кроме того, Мекси был необходим ей как сообщник для сведения счетов с Язоном.

Если бы Медее хоть на один миг запала мысль, что вся катастрофа явилась гениаль-

ной инсценировкой, а не фатальной ошибкой, она все свои сбережения, — а они исчислялись миллионами, — бросила бы на то, чтобы раздуть скандал и в печати, и в соответствующих учреждениях, и посадить преступника на скамью подсудимых. Нет, Медея, потрясенная самим фактом смерти Мекси, взглянула на все с точки зрения мистической. В «петле смерти» она увидела какое-то возмездие свыше. Увидела предостережение для самой себя.

Это предостережение как-то вдруг отрезвило ее, и она поняла всю безрассудную жестокость отношения своего к Язону. Ее ненависть и ее неутолимая жажда мести, история с колье, с наемной клакой и шталмейстером Гансом — все это всплыло для нее в новом, омерзительном к самой себе свете. Было ли это раскаяние? Пожалуй, нет! Пожалуй, это был скорее панический страх, страх животный, эгоистический. Ей чудилось, что вслед за Мекси придет ее очередь, если, если она от этой очереди как-нибудь не откупится. И Медея откупилась.

Не прошло и сорока восьми часов с момен-

та катастрофы, как обыкновенный посыльный в обыкновенном пакете из самой обыкновенной газетной бумаги принес вечером за кулисы и из рук в руки передал Ренни Гварди колье, легендарное колье из двадцати трех скарабеев.

И принц нисколько не удивился, словно этого и ожидал, и это должно было непременно случиться. Через минуту он сказал Мавросу:

— Возьми и продай! Я хочу возможно скорее отделаться от этой вещи, принесшей мне столько горя.

Маврос помчался в Париж и через несколько дней вернулся, заявив принцу:

— Ваше Величество, мне повезло, повезло исключительно. Утром я прибыл в Париж, а к вечеру колье уже было продано за двадцать три миллиона франков. Эту сумму я положил в Лионский кредит на ваше имя. Вот чековая книжка.

— Кто купил?

— Купил американский миллиардер Ветмор для своей дочери как свадебный подарок. Она делается на днях герцогиней Вандам. Ва-

ше Величество спросит, как это произошло? Один ответ: случай, слепой случай. Я начал обходить ювелиров на авеню де л'Опера и у одного из них встретился с маленьким бритым старичком. Это и оказался папаша Ветмор. Теперь, Ваше Величество, вы можете, дав Барбасану королевскую неустойку, купить себе свободу.

— Я этого не сделаю, — ответил принц. — Контракт свой выслужу до конца, день в день. Я не могу подвести Барбасана. Я слишком многим ему обязан.

— А дальше?

— Дальше? — задумался принц. — Дальше мы, вероятно, уедем куда-нибудь далеко-далеко. Уедем втроем, — и, увидев в глазах своего верного адъютанта вопрос, Язон пояснил: — Моя будущая жена, ты и я. Надеюсь, ты не оставишь меня?

— О, Ваше Величество! Разве я могу жить без вас? — воскликнул, просияв от нахлынувшего счастья, князь Маврос.

Догадывался ли Язон о той роли, какая сыграна была Фуэго и Бенедетти в ликвидации дистрийского волшебника? По этому поводу

он ни малейшего намека не сделал даже Мавросу, испытанному другу своему. Он был непроницаем.

Но в то же время...

Хотя ковбой и клоун к судебной ответственности привлечены не были за отсутствием улик, но все же испанские власти, запретив им выступать в цирке, выслали обоих во Францию. Фуэго и Бенедетти уехали в Париж, дав свой адрес.

Спустя несколько дней по этому адресу в Континенталь-Отель явился к ним князь Маврос.

— Друзья мои, Его Величество вместе со своим сердечным приветом приказал мне вручить вам эти две бумажки.

Эти «две бумажки» оказались чеками в полмиллиона каждый.

Бенедетти и Фуэго запротестовали.

— Что вы, что вы, князь!! Такая сумма! Нет, нет, мы не можем принять!

— Должны! Вы теперь безработные. И наконец, это высочайшая воля, которой нельзя противиться, — улыбнулся Маврос, улыбнулся так мягко, так обвороживающе, что ни Бе-

недетти, ни Фуэго уже не в силах были протестовать...

1927

Примечания

Тысяча благодарностей (фр.).

[^^^]

2

Что мсье желает? (фр.).

[^^^]

До востребования (фр.).

[^^^]

Невежа (фр.).

[^^^]

5

Мадам, хозяйка, где вы? Я хотел бы снять комнату (фр.).

[^^^]

6

«Мой маркиз или мой граф» (фр.).

[^^^]

Мертвый сезон (фр.).

[^^^]

8

Капитан, полковник, умоляю вас, пожалуйста
(фр.).

[^^^]

Вы свободны (фр.).

[^^^]

Негодяй... мерзавец... (фр.).

[^^^]

«Чтобы быть красивым, надо страдать» (фр.).

[^^^]